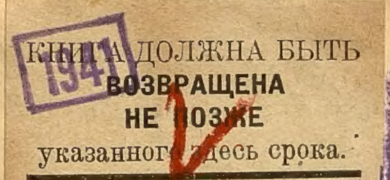


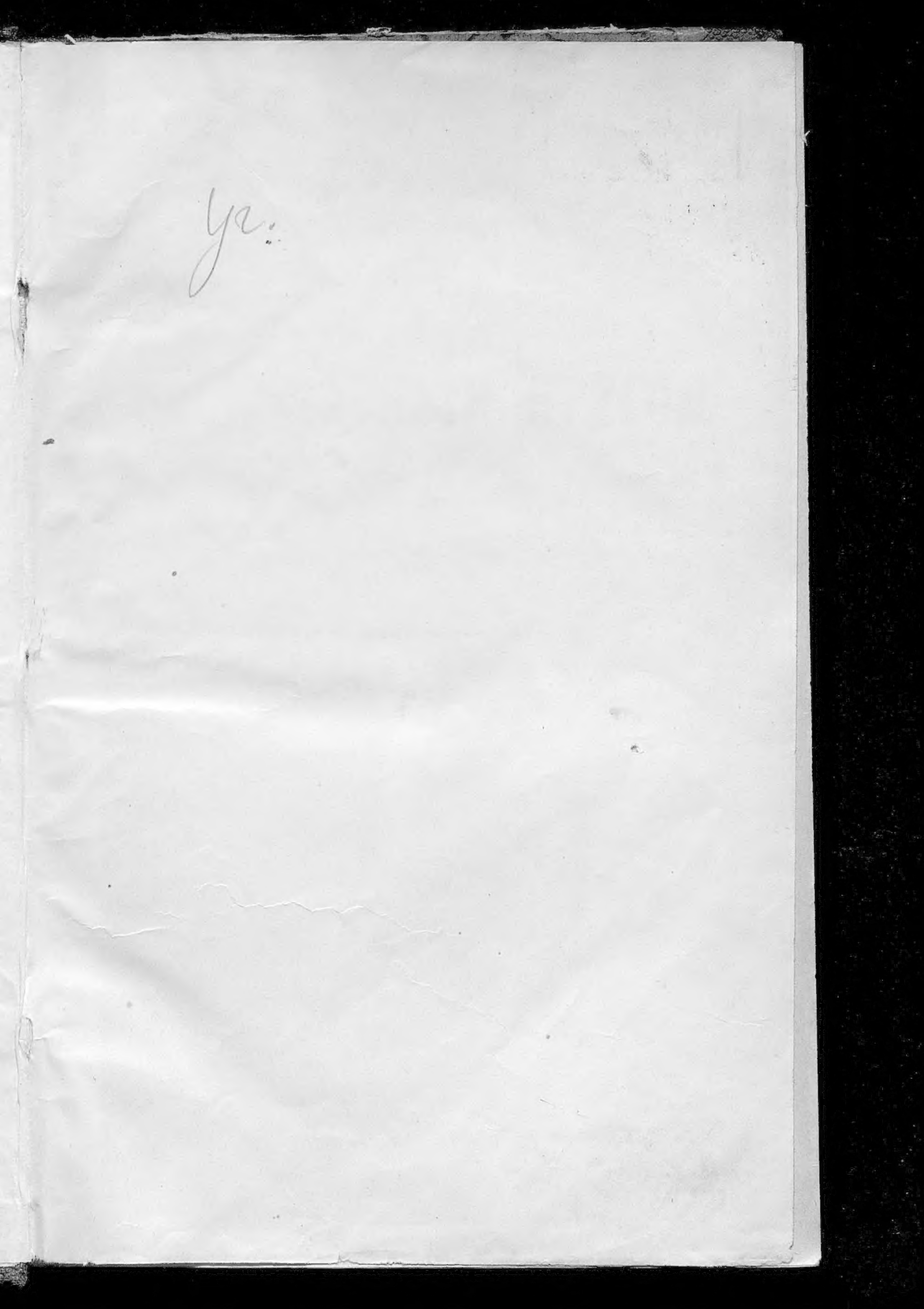
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ССЫЛКИ В КОЛЫМСКЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД — 1924





Г. ЦЫПЕРОВИЧ

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ССЫЛКИ В КОЛЫМСКЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА... 1924... ПЕТРОГРАД



Гиз. № 6679. Петрооблит. № 11932. Отп. 3.000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

О книге «За полярным кругом» мало кто знает. Вышла она в свет в 1907 г. и немедленно же попала в руки цензуры, которая предписала ее конфисковать и уничтожить. Лишь незначительное количество экземпляров уцелело от карающей десницы цензурного комитета и окольными путями попало к читателю.

То, что описано в книге, давно уже ушло в область истории. И хорошо, что ушло. Колымск занимал очень видное место в сложной системе карательных мер, с помощью которых самодержавие избавлялось навсегда от своих врагов-революционеров. Так же, как Шлиссельбург, Петропавловская крепость, Акатуй или Орловский Централ, Колымск имел назначение царской мясорубки. У людей, попадавших туда, немного было шансов на возвращение. Большинство из них, затратив всю энергию на борьбу с одиночеством, оторванностью от всего мира, холодом и голодом, возвращались в Россию с опустошенной душой, разбитые физически. И до самой Февральской Революции колымская мясорубка работала исправно, принимая свежих, полных энергии революционеров и выпуская обратно их тени.

После Февральской Революции ссылка в Колымск исчезла. После октября Якутский край стал советским. А еще несколько месяцев тому назад в Колымске произошло столкновение между остатками белогвардейских банд, забравшимися туда после разгрома в Приморской области, и местным населением, отстоявшим власть Советов с оружием в руках. Поистине причудливы изгибы классовой борьбы. Палачи и убийцы, создавшие в свое время из Колымска настоящую ледяную тюрьму для Революции, вынуждены теперь в ней искать спасения, пытаются ее исполь-

зовать, как свою крепость, чтобы отсидеться в ней и собраться с силами для новых кровавых авантюр. Но даже и здесь они встречаются с Красным Знаменем, даже здесь они получают отпор от тех самых якутов, мещан и казаков, которые так долго были невольными тюремщиками Революции в старое царское время.

Колымский край, несмотря на крайнюю суровость климата, вполне доступен колонизации. Он очень богат пушным зверем, рыбой, есть не мало данных, указывающих на то, что этот край обилен железной рудой, свинцом, серебром и золотом. Его необъятные тундры могут быть легко использованы для оленеводства в огромном масштабе. Предприимчивые американцы уже нашли туда дорогу и завоевывают богатую область своей крупчаткой, ситцем, коньяком. Дело Советской власти помочь якутскому и чукотскому населению выйти из американской кабалы и стать прочно на ноги. Это было немыслимо в те времена, когда Колымск был могилой Революции. Это мыслимо теперь, когда у Колымска тоже есть Советское Знамя.

Предлагаемая читателю книжка не подвергалась никаким изменениям. Она была написана под свежим впечатлением пережитого, и теперь, т. е. пятнадцать лет спустя, вносить в нее поправки и дополнения было бы равносильно переделке, которая всегда отражается на общем тоне картины, как бы тщательно она ни была произведена.

Одно только дополнение мне хотелось бы сделать, для того чтобы исправить промах, допущенный в первом издании. Все рисунки, помещенные в книге, сделаны по фотографиям тов. Я. Строжецкого, который долгое время жил в Ср.-Колымске и с которым мы коротали ссылку. Тов. Строжецкого нет уже в живых. Вскоре после возвращения из ссылки он снова принял участие в революционном движении в Польше и был вынужден эмигрировать. Во время войны жил во Франции, в Париже. Жизнь его прервалась случайно: он утонул, спасая своего друга.

Г. Цыперович.

Памяти погибших в Колымской ссылке посвящается это издание.

ГЛАВА I.

От Одессы до Иркутска.



ЕМНЫЙ, грязный вагон с узкими окнами, забранными железной решоткой... десятка три каторжников, хлопотливо устраивающихся на своих местах... резкий, раздражающий лязг тяжелых кандалов... неподвижные, как статуи, часовые у дверей... — вот обстановка, в которую мы попали после 17 месяцев одиночного заключения в одесской тюрьме.

И все-таки даже этот убогий, тесный вагон, быстро мчавший нас в неведомую даль, казался нам раем, царством свободы после одиночных камер новой «образцовой тюрьмы».

Правда, перед отходом поезда нас рассадили по одному между четырьмя каторжниками, а часовым был отдан очень строгий приказ следить за тем, чтобы мы не меняли мест и не сообщались друг с другом; но как только поезд тронулся, мы явочным порядком отменили этот приказ и образовали маленькую тесную группу в углу вагона.

Поезд несся, мерно постукивая колесами, и перед нами развертывались безграничные поля и степи, сплошь покрытые волнующимся зеленым покровом,—широкие необъятные пространства, гнетущие мертвым безлюдием, давящие своей беспредельностью и однообразием. И только изредка за решоткой нашего вагона быстро появлялись и исчезали сиротливые почер-

нелые деревеньки, казавшиеся грязным, ненужным пятном на яркозеленом фоне.

Казалось бы, что люди, просидевшие полтора года в каменных мешках, не видевшие из своих окон с глубокими амбразурами ничего, кроме клочка голубого неба, и ни разу за все время не дышавшие свежим, бодрящим воздухом полей, не будут в силах оторваться от окон, хотя бы и забранных решоткой, будут с жадностью упиваться запахом степей и лесов, любоваться бесконечным зеленым морем волнующихся нив. На самом же деле мы в первый день почти не интересовались прекрасными видами, мелькавшими за решотками нашей подвижной тюрьмы. Мы спешили наговориться досыта, обменяться впечатлениями, мыслями и надеждами; мы так долго не видели друг друга, а тюремные разговоры через окна нас далеко не удовлетворяли. Тот, кто не сидел в тюрьме, не может себе представить, как тяжело действуют на заключенного эти разговоры, когда слышишь только голос и смех, словно существующие отдельно, самопроизвольно зарождающиеся и тающие в воздухе. Теперь мы знакомились друг с другом. И странное дело, при личном знакомстве голоса товарищей звучали по-новому, речь казалась совершенно иной, она облекалась в плоть и кровь.

День пролетел незаметно, а к ночи мы подъехали к Киеву. Здесь нас продержали пять дней в общей камере, на суровом режиме, нас не выпускали на прогулку, не давали табака, свидания допускались только через решотку. Через пять дней нас вывели на тюремный двор. Конвойный офицер вел себя грубо, вызывающе и во что бы то ни стало хотел заковать нас в ручные кандалы; но дружный протест с нашей стороны заставил его отказаться от этой попытки. Как впоследствии оказалось, он еще в Одессе, принимая партию, получил инструкцию от местных властей (тогда в Одессе царил известный градоначальник Зеленый, уже описанный в русской литературе) вызвать нас на какое-нибудь возмущение и подавить его самыми решительными мерами. До самой Москвы мы находились под Дамокловым мечом этой угрозы. Здесь это первое испытание кончилось, и часовая башня бутырской тюрьмы, гостеприимно принявшая нашу партию в свои закоптелые недра, избавила нас от этого офицера-бурбона.

В Москве мы пробыли две недели; отсюда пятеро из нас отправились дальше в Петербург отбывать наказание в «Крестах». Но место свято не бывает пусто, и вместо отбывших товарищей к нам приехали новые гости из Варшавы. Так же, как и мы, они отправлялись в Сибирь, но куда, они тоже не знали. Держать ссылаемых в неведении относительно конечного пункта их путешествия входило, очевидно, в «систему» начальства, которое совершенно верно рассчитывало, что эта неизвестность должна действовать на подневольных путешественников самым удручающим образом. А теперь уже ни для кого не тайна, что правительство всегда старалось превратить дорогу в наказание. Так, после проведения великого сибирского железнодорожного пути, министр внутренних дел заявил совершенно ясно и определенно, что с того момента, как партии ссыльных начнут совершать свой путь не обычным этапным порядком, а по железной дороге, самая тяжелая сторона ссылки отпадает, и сама ссылка в значительной степени теряет свой смысл.

Наша партия вступила в пределы Сибири в августе 1895 г. Это была одна из последних партий, прошедших весь путь по образу этапного хождения. 10 месяцев тащились мы от Одессы до крайнего пункта северо-восточной Сибири—Средне-Колымска, и только на седьмом месяце путешествия мы узнали, куда нас отправляют. В течение двух недель в Москве собиралась партия уголовных, с которой мы должны были двинуться в дорогу. Я не могу сказать, чтобы это совместное путешествие было из особенно приятных. Уже с самого начала, по выходе из московской тюрьмы, мы сразу почувствовали, что конвой неохотно проводит разницу между нами и уголовными, и на протяжении всего пути нам приходилось самым резким и решительным образом подчеркивать эту разницу и бороться за некоторые права и преимущества, завоеванные нашими предшественниками.

Из Москвы уже в отдельном вагоне нас отправили в Нижний-Новгород; затем несколько дней мы плыли по Волге и Каме, в большой барже и решоткой вместо двери. У этой решотки день и ночь стоял часовой, все время своим тупым, безучастным взглядом вторгавшийся в нашу внутреннюю, интимную жизнь. На зверей в клетке мы были похожи тогда,

и порою это сравнение, невольно приходившее в голову, угнетало и давило нас гораздо сильнее, чем все неудобства нашего плавучего обиталища.

В Перми нас снова посадили в поезд; это было последнее путешествие на европейский лад. Мелькнул Екатеринбург, и поезд спокойно и безучастно прошел мимо небольшого столба с двумя дощечками на вершине; на одной из этих дощечек было написано *Россия*, на другой *Сибирь*. Два маленьких слова, но сколько тяжелого смысла таилось в них для путешественников, не знавших, куда их забросит судьба, и вообще удастся ли им вернуться когда-либо на родину.

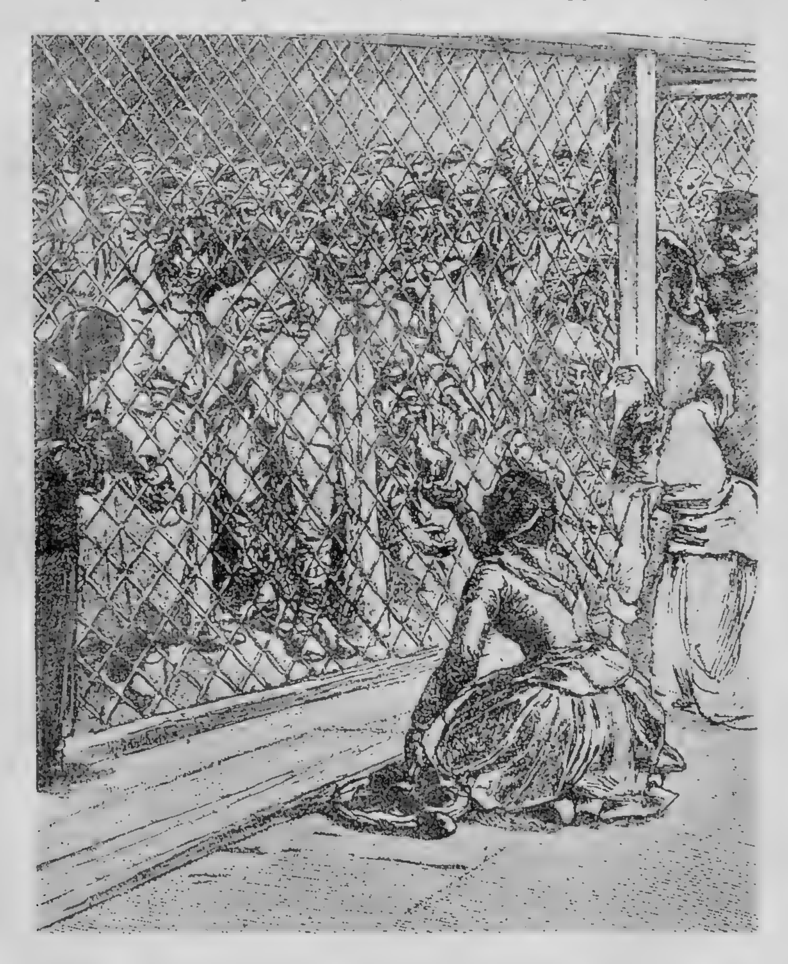
Поезд доставил нас в Тюмень, где уже была приготовлена баржа для дальнейшего путешествия. В этой грязной плавучей тюрьме мы провели несколько дней, но и этого было вполне достаточно, чтобы раз навсегда почувствовать глубокое отвращение к такому способу передвижения. Наша баржа, приспособленная специально для перевозки ссыльных, состояла из двух этажей. Внизу, в подводной части, находилась спальня.

Здесь были поставлены нары, на которых мы устраивали свои постели, а иногда обедали, пили чай, играли в шахматы, читали и т. д.

Тут же в углу, в двух-трех шагах от наших постелей, находился «ватер», откуда постоянно несло отвратительной вонью, смешанной с запахом дегтя, которым были обильно смазаны стены этого зловонного учреждения.

Из трюма, по узенькой крутой лестнице, мы поднимались в верхнюю часть баржи, представлявшую собой небольшое квадратное помещение, одна сторона которого была забрана густой проволочной сеткой. В общем эта верхняя часть баржи очень походила на клетку, которую можно встретить в любом зоологическом саду. Здесь мы проводили большую часть дня, любуясь дикими, своеобразно красивыми видами могучих сибирских рек—Туры, Тобола, Иртыша, Оби и Томи. Особенно красив был Иртыш ночью, когда пароход с плавучей тюрьмой подходил к берегу для того, чтобы запастись дровами. На крутом берегу зажигались громадные костры, охватывавшие кровавым заревом ближайшую часть леса, снующих у парохода людей и отражавшиеся огненным столбом в верной, безмолвной воде.

Пели хором, и голоса разносились далеко по тихой поверхности реки. Но в конце концов, все это порядочно надоело. Вечная решотка перед глазами, конвой снаружи, неприятное



Клетка для уголовных на барже.

соседство австрийских шпионов с их вечными ссорами, наконец, удивительное однообразие видов,—все это значительно перевешивало сумму приятных впечатлений, и мы не без радости вступили во двор томской тюрьмы, грязной и переполненной всевозможными паразитами. Этот ужасный бич сибирских

этапных тюрем буквально отравлял нам существование, и когда жестокие сибирские морозы прохватили ледяным холодом бревенчатые стены наших временных помещений, только тогда мы, наконец, освободились от этих маленьких кровопийц и свободнее вздохнули.

От Томска до Иркутска путешествие продолжалось 6 месяцев; это же расстояние через 10 лет, возвращаясь обратно на родину, я сделал по железной дороге в течение 10 дней. Разве не прав был министр внутренних дел, полагая, что проведение Сибирской железной дороги доставляет слишком много незаслуженного удовольствия тем, кто по закону должен быть награждаем одними только скорпионами?

В 1895 г. на протяжении всего Сибирского тракта шли спешные работы по проведению великой сибирской магистрали. Это была великая борьба между трудом и дикой сибирской тайгой; строились насыпи, прорубались просеки, а в тех местах, где топор не мог справиться с девственной чащей лесов, пускали в ход огонь, выжигая огромные участки на протяжении десятков и сотен верст. Помнится, этот колоссальный созидательный процесс послужил для нас темой многочисленных споров. Совершенно правильно оценивая значение сибирского пути с «экономической» точки зрения, далеко не все из нас представляли себе ясно, с какою целью русское правительство протягивало эти две стальные линии от сердца России до берегов Тихого океана. Реально я почувствовал это, встречая на обратном пути бесконечные поезда, набитые солдатами, лошадьми, и когда в том вагоне, в котором я ехал, я познакомился с измученными, больными солдатами, возвращавшимися с войны. Не для перевозки хлеба, масла, мяса и яиц проводили эту дорогу, она была предназначена, главным образом, для перевозки пушечного мяса.

Две недели, проведенные нами в томской тюрьме, пролетели очень быстро. Мы не успели еще, как следует, отдохнуть и подготовиться к долгому пути, как тюремное начальство сообщило нам, что через два-три дня «семейные» будут отправлены дальше, а через неделю после них будет пущена и «холостая» партия. Это разделение на две партии было первою крупною неприятностью, отравившею наше путешествие с первых же шагов

Некоторым из нас пришлось расстаться с друзьями, а так как впереди мы ждали всевозможных столкновений и других сюрпризов в таком же духе, то нас естественно еще сильнее тянуло друг к другу. Но мы не могли ничего поделать с установленным порядком, и в один далеко не прекрасный день нас разбили на две группы.

Наша «холостая» партия состояла из четырех человек, сосланных по обвинению в пропаганде и агитации среди рабочих, и трех шпионов, сосланных на поселение за выдачу планов мобилизации австрийскому правительству. Они помещались вместе с нами в одной камере, назывались, как и мы, «государственными» и своим поведением постоянно роняли нас во мнении конвоя и уголовных арестантов. Пользуясь своим привилегированным положением, они проносили на этап водку, продавая ее втридорога уголовным, устраивали картежную игру, а когда дело доходило до скандалов, неизменно прикрывались именем «государственных». В общем постоянное присутствие этих трех шпионов сильно тяготило нас, и под конец путешествия мы с трудом его переносили.

С первых же шагов ясно обнаружилась наша полнейшая неприспособленность к новому образу жизни. В тюрьме мы никогда не задавались вопросом о том, кто и как приготовит для нас обед, подаст чай, вымоет белье, словом, выполнит все те мелкие хозяйственные обязанности, которые требуют известного навыка и практичности; впервые с этим кухонным вопросом мы столкнулись лицом к лицу на этапах [1]). Семейные сразу же

---

[1]) «Этапом» вообще называется расстояние между двумя привалами или тюрьмами, в которых ночуют партии ссыльных. С течением времени это название было перенесено на самые тюрьмы. При каждом этапе имелись казармы для конвойной команды, дом для офицера и проч. Сюда же к приходу партии приходили торговки молоком, шаньгами, калачами, яйцами и другими продуктами. Обыкновенно переход от одного этапа к другому продолжался двое суток, и первую ночь партия проводила в небольшом остроге, который назывался «полуэтапом». Этапы были гораздо просторнее и солиднее. Здесь партии ночевали и дневали, собираясь с силами для следующих переходов. С проведением великой Сибирской железной дороги «этапы» и «полуэтапы» по главному тракту были упразднены, и, таким образом, значительная часть Сибири избавилась, наконец, от этих позорных памятников бесконечного страдания.

оказались в более выгодном положении. Благодаря некоторой опытности и сноровке своих жен, они умудрялись на жалкие гроши, которые им выдавались в виде кормовых, готовить себе ежедневно обеды, а иногда и ужины. У нас—холостых—дело обстояло гораздо хуже. Первый месяц мы питались исключительно чаем и калачами. Но долго так продолжаться, конечно, не могло. И вот однажды, после долгих и страстных прений, решено было приобрести кастрюлю и мешок картошки. С этого момента продовольственный вопрос вступил в новую стадию развития. Каждый день, придя на этап и согревшись предварительно чаем, наша компания, состоявшая из штурмана Калашникова, бухгалтера Красуского, машиниста Коханского и автора воспоминаний, усаживалась на нарах вокруг священной кастрюли и с ожесточением предавалась чистке картошки; из нее наш главный повар приготовлял пюре, сдабривал его небольшим количеством свиного сала, и обед был готов. Теперь трудно учесть, как отразилось на нашем здоровье такое питание, но когда на одном из этапов мы нагнали семейную партию, неприхотливые обеды ее показались нам лукулловскими пиршествами.

Уже вскоре после Томска мы стали встречать на стенах этапов одну и ту же надпись, для нас совершенно непонятную: «Товарищи, добивайтесь права ехать впереди партии. Мы боремся за это право». Собравши военный совет, мы решили поддержать товарищей, но нам и в голову не приходило, что это требование сводится к завоеванию очень важного права ехать рысью и отдельно от уголовной партии, которая шла пешком и тратила на переход от этапа к этапу почти целый день.

Вызвали офицера. «Вы чем-нибудь недовольны?»—спросил он.—«Да,—отвечали мы,—нам хотелось бы ехать впереди партии». Офицер улыбнулся и, повернувшись к унтеру, сказал: «Завтра пустите их вперед».—Мы были поражены такой быстрой и неожиданной победой.—«Но только,—прибавил офицер,—вы напрасно это делаете, господа. Теперь дорога пыльная, уголовным и так трудно итти; партия никогда не простит вам, что вы из-за прихоти вздумали душить ее пылью на протяжении всего пути».

Положение наше было не из ловких. С одной стороны, мы не хотели возбуждать неудовольствие среди уголовных,

с другой—нам не хотелось оставлять без поддержки товарищей. В конце концов мы отказались от своего требования и только впоследствии догадались, что офицер смеялся над нами, пользуясь тем, что товарищи недостаточно ясно изложили на стенах этапа сущность своего требования. Приблизительно на третьем месяце пути мы добились осуществления этого требования, и с тех пор самая тяжелая часть передвижения по этапу была



Полуэтап на пути между Томском и Ачинском.

для нас значительно сокращена [1]). Иногда на полуэтапах, т.-е. там, где партия только ночевала, а не дневала, как это было на этапах, для нас не находилось отдельной камеры. В таких случаях мы вступали в резкие препирательства с конвойным

[1]) За час-другой до выступления партии нам подавали лошадей, и мы уезжали вперед, делая по 10 и 12 верст в час и оставляя позади уголовных. Это и значило «ехать впереди партии», тогда как сначала мы думали, что все дело сводится к тому, чтобы ехать во главе партии, что действительно могло только стеснить уголовных, нисколько в то же время не улучшая нашего положения. На всякого мудреца довольно простоты!

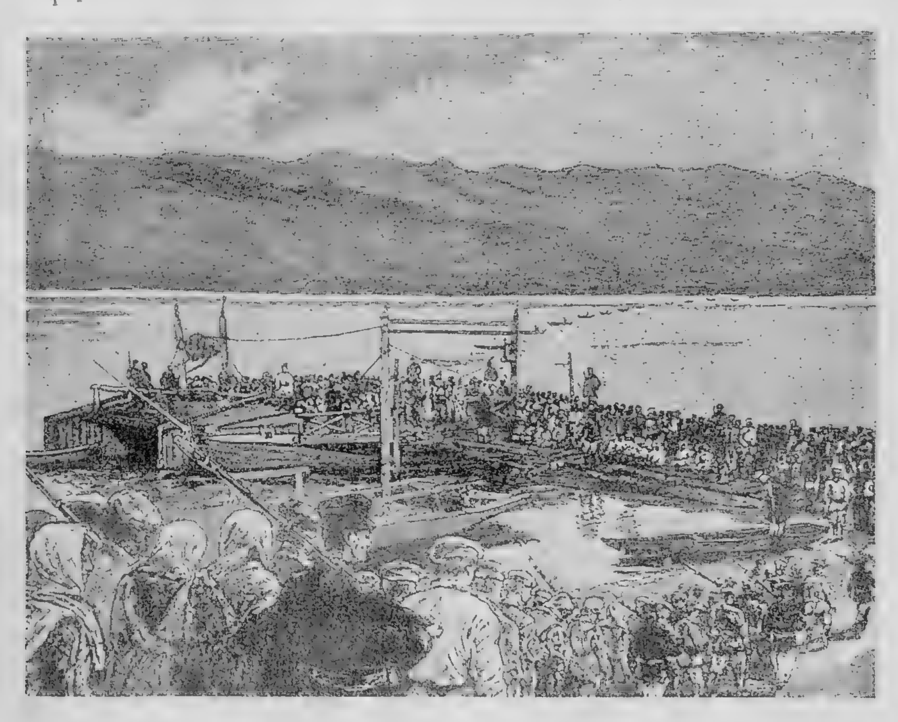
начальством и обыкновенно одерживали над ним верх. После непродолжительного отдыха мы снова садились в сани и поздно ночью отправлялись на ближайший этап.

Сговорчивые и более или менее похожие на людей офицеры встречались нам сравнительно редко. За все время этапного путешествия мы встретили только двух офицеров, с которыми можно было иметь дело. Один из них был переведен в Сибирь из Петербурга за излишнее пристрастие к запрещенным книгам. Здесь он быстро опустился и начал пить запоем. В минуты просветления он возился с уголовными, как с ребятами, лечил их, составлял для них прошения и пр. Впрочем, фактически он совершенно был устранен от своей должности хитрым фельдфебелем, который держал его в ежовых рукавицах, заведывал всем хозяйством, беспощадно обворовывая и команду и уголовных. Другой начальник конвоя, высокий старик с длинной, седой бородой, похожий на короля Лира, был, напротив, полным властелином в своем острожном царстве. Он очень участливо отнесся к нам, несколько раз заходил в нашу камеру, завязывая разговор на различные политические и общественные темы. С новейшими течениями в политической экономии и социологии он не был знаком совершенно, но Чернышевского и Лаврова, повидимому, знал недурно.

Обычный же тип конвойного начальника—полупьяный, опустившийся, отупевший, а иногда совершенно озверевший бурбон, абсолютно не считающийся даже с теми инструкциями, которыми он обязан руководиться. Большинство этих господ состояло из офицеров, которые почему-либо были неудобны в своих полках. Случалась ли в полку растрата или какой-нибудь скандал, виновного не отдавали под суд, а просто переводили куда-нибудь подальше в Сибирь, делали начальником конвоя и отдавали в его руки судьбу сотен и тысяч людей. Конвойные солдаты творили волю своих господ. Дикие и жестокие в своей бессознательности, они совершенно не были склонны считаться с нашими правами. Отсюда ряд бесконечных столкновений, иногда завершавшихся даже избиением «политиков».

Отношения наши к уголовной партии определялись в значительной степени инстинктом самосохранения. Мы отлично понимали, что стоит нам хотя бы на минуту уменьшить расстояние,

которое отделяло нас от уголовных, и конвой сейчас же воспользуется этим для того, чтобы уравнять нас с последними в смысле полнейшего бесправия и приниженности. Во избежание всяких недоразумений мы сразу резко отмежевались от партии уголовных и впоследствии имели много случаев убедиться, что такая форма отношений является наиболее целесообразной.



Переправа уголовной партии через Енисей на пароме.

У нас был собственный староста, получавший кормовые деньги непосредственно от конвойного офицера; мы всегда требовали отдельных помещений на этапах; готовили себе отдельно обеды, отказываясь от общего котла; никогда не делали попыток близко сойтись с уголовными и отклоняли аналогичные попытки с их стороны; словом, всегда старались подчеркнуть свою независимость от распорядков в уголовной партии. Это, конечно, не мешало нам—а, пожалуй, даже и помогало—делать все, что мы могли, для наших товарищей по путешествию.

Мы отстаивали их от чрезмерных прижимок со стороны конвойных, помогали им защищать свои права, оказывали им медицинскую помощь и т. д.

Стараясь провести резкую грань между собою и уголовной партией, мы с самого начала пути отказались распоряжаться «подаянием», поступавшим в наши руки, и направляли его к уголовному старосте. Только дважды мы нарушили этот принцип по требованию провожавшей нас публики. В первый раз это случилось в Красноярске на берегу Енисея. Наша партия стояла у пристани, ожидая парома. Река в этом месте очень широка, и паром, построенный по типу обычных сибирских паромов-самолетов, заставил себя долго ждать. Над нами на высоком яру собралось много провожающих, сочувствующих и просто любопытствующих. Вдруг из толпы вынесли несколько тарелок, покрытых белоснежными салфетками. Мы хотели передать эти тарелки, принесенные нам конвойным, дальше уголовному старосте, но тогда сверху раздались протестующие голоса: «Нет, это вам! Не отдавайте!..»

Пирожки, блинчики и прочие продукты кулинарного творчества наших неизвестных друзей оказались очень вкусными, и мы нисколько не жалели о нарушении своего принципа.

В другой раз, когда мы на санях въезжали в Иркутск, из маленького деревянного домика выбежала женщина в большом платке, подбежала к саням и передала нам большой сдобный хлеб. Что-то трогательное и в то же время простое было в жесте, с которым она отдала свое подаяние, и обычная щепетильность, свойственная культурным людям и неизбежно появляющаяся на сцену в таких случаях, должна была умолкнуть перед этим бесхитростным, сердечным поступком доброй женщины.

Аналогичный случай произошел с нами еще в России, на орловском вокзале. Я стоял у решотки окна и рассматривал подошедший поезд. Маленький, испитой мастеровой подошел к окну, осмотрелся кругом, нет ли часовых, и протянул мне пятак.

— Возьмите,—сказал он простым грубоватым голосом,— ехать далеко... пригодится...

— Денег мне не нужно, у меня есть,—ответил я,—а если хотите удружить, принесите газету.

Мастеровой улыбнулся, кивнул головой и исчез между вагонами. Выполнить моей просьбы ему не удалось, так как наш поезд сейчас же тронулся, и мы оставили Орел навсегда.

Первые месяцы нашего этапного путешествия—август и почти весь сентябрь—прошли сравнительно быстро. Мы шли значительную часть пути по тракту, окаймленному с обеих сторон густою, непроницаемою стеной сибирской тайги. Зеленый лес, красивые виды, переправы через широкие сибирские реки—все это доставляло нам массу новых впечатлений и, до известной степени, сглаживало неприятные, тягостные стороны этапного путешествия. Гораздо хуже пошло дело, когда наступила осень. Из-за каждой задурившей речки нам приходилось неделями отсиживаться на этапах. Грязные, полутемные здания, лишенные какого бы то ни было комфорта, приводили нас в самое скверное настроение, и обычный спутник тюремной и ссыльной жизни—глухое, часто бессознательное раздражение постепенно охватывало нас.

Во всякой партии попадаются люди различных темпераментов, привычек и убеждений. В обычной жизни, когда каждый может выбирать себе среду по своему вкусу, это различие темпераментов и убеждений поддается известной регулировке и в значительной степени парализуется возможностью в любое время разойтись и больше не встречаться. Совсем иначе обстоит дело в той исключительной, уродливой обстановке, в которую попадает «политик» сначала в пересыльной тюрьме, где ему приходится подолгу жить вместе со своими товарищами, затем на этапах и, наконец, на месте ссылки. Закованная в стены тюрьмы, охваченная узким, всегда таящим в себе насилие или смерть кольцом кандалов, штыков и револьверов энергия молодых, иногда еще совсем неустановившихся сил не может найти себе исхода и поневоле направляется на мелочи внутренней жизни, те мелочи, мимо которых в обычных нормальных условиях наше внимание проходит спокойно, как они того и заслуживают. Бывали взаимные неудовольствия и ссоры и в нашей партии. Впоследствии мне пришлось познакомиться с различными историями, возникавшими в пути среди различных партий, и в большинстве случаев для меня становилось совершенно ясным, что все эти ссоры и дрязги, неизбежно заража-

вшие в пути любую партию, быстро разростались и иногда принимали характер скандала, главным образом, благодаря ненормальной скученности, насильственному объединению различных по взглядам, привычкам и темпераментам элементов и физической невозможности приложить свою энергию к какому-нибудь живому, захватывающему делу. Отчасти благодаря этому обстоятельству, а отчасти и вследствие естественного переутомления от долгого пути, обставленного всевозможными неудобствами и лишениями, бодрое настроение нашей партии значительно упало. Затем начались морозы, заставшие нас совершенно неподготовленными. Одеты мы были плохо, ни у кого из нас не было даже теплого белья, и поэтому каждый переход от этапа к этапу превращался для нас в сущую пытку.

Этапы к нашему приходу не протапливались. Приходилось самим приносить дрова и разводить огонь; закоченевшие руки плохо слушались, и покуда удавалось затопить печь, нам подолгу приходилось бегать по камере в ожидании горячего чая. Печи обыкновенно были маленькие, железные; они очень быстро накалялись, но и остывали с такой же быстротой, и ночью температура в наших камерах вряд ли отвечала требованиям гигиены. Но все-таки, когда через несколько месяцев мне пришлось испытать все прелести путешествия от Якутска до Колымска, я не раз с чувством глубокого сожаления вспоминал об этих грязных, холодных этапах, двери которых все-таки плотно прикрывались, и в окна которых были вставлены настоящие стекла.

ГЛАВА II.

От Иркутска до Якутска.

В СЕРЕДИНЕ января 1906 года кончилась первая часть нашего путешествия—от Одессы до Иркутска. Нас поместили в иркутской пересыльной тюрьме, показавшейся нам, при всех своих несовершенствах, первоклассным отелем по сравнению с сибирскими этапами. Правда, и здесь мы были окружены забором, который отрезывал нас от живой жизни, и здесь нас зорко стерегла охрана, и здесь мы принуждены были жить в общей камере, вечно на виду друг у друга; но зато здесь у нас были такие удобства, которые по достоинству могут быть оценены только в ссылке. В громадной камере было просторно, светло и тепло. Для желающих были принесены деревянные койки, и, таким образом, нашему казарменному помещению удалось придать жилой вид. На железной плите, помещавшейся в этой же камере, мы производили бесконечные кулинарные эксперименты, внося в это дело столько же рвения, сколько и неумения. Ежедневно у нас были горячие обеды, все время мы проводили в тепле, смеясь над крещенскими морозами и вьюгами, с которыми мы, дети юга, никак не могли примириться.

Бывали у нас и развлечения. Так как нам предстоял еще очень далекий путь в неведомые страны, то начальство, в силу установившегося обычая, разрешало нам по одному отправляться в город в сопровождении тюремного надзирателя за покупками. Смешно, должно быть, было смотреть на нас, когда мы важно

шествовали по улицам восточно-сибирской столицы в несуразных чалдонских шапках, похожих на опрокинутый кухонный котел, и в грязных шубах-барнаулках, окрашенных пятнами в черный и зеленоватый цвета. Тюремный надзиратель из вежливости шел обыкновенно сзади; но тонкая, невидимая нить неизбежно связывала нас в одно целое и в значительной степени отравляла удовольствие, которое мы получали от этой прогулки по городу... Ходили по лавкам, стараясь оттянуть время, как можно больше, иногда заходили в гости к товарищам, проживавшим в Иркутске, а к вечеру возвращались обратно с некоторым запасом новых впечатлений и известий с воли.

Обыкновенно наш тюремный день распределялся следующим образом. Часов в девять утра дежурный растапливал плиту и ставил чайники. Население камеры просыпалось с большой неохотой и долго боролось с нежеланием оставить теплую постель. Затем начиналось чаепитие, сопровождавшееся бесконечными разговорами, обычной темой которых являлось предстоявшее путешествие. Обсуждение этого самого главного для нас вопроса отнимало вообще очень много времени. Необходимо было обзавестись дорожными вещами, приспособить одежду для дальнейшего путешествия, которое грозило нам суровым холодом, нужно было заготовить провизию, устроить кибитки—словом, совершить целый ряд очень важных и неотложных работ, о которых мы не имели никакого представления и к которым мы поэтому приступали наугад, учась на своих же ошибках.

Теперь я не могу без смеха вспомнить о тех бесконечных курьезных промахах, которые мы наделали в то время; а между тем трудно даже себе представить, сколько мы перенесли ненужных лишений, исключительно благодаря нашей неопытности и неподготовленности. Следует, впрочем, прибавить, что в значительной степени в этом была виновата наша тюремная администрация. О конечных пунктах нашего путешествия мы узнали лишь накануне отъезда. Держало ли нас в такой неосведомленности наше начальство только потому, что и само не знало о местах нашего назначения (что, впрочем, мало вероятно), или распоряжение об этом было уже в его руках, но оно нарочно задерживало его, чтобы таким путем увеличить количество административных скорпионов, выпавших

на нашу долю,—этого я не знаю; верно, однако, то, что благодаря такому небрежному отношению к участи ссыльных, мы выехали из Иркутска без многих вещей, которые впоследствии оказались для нас очень нужными.

От Иркутска до Якутска дорога идет почти все время по реке Лене. Нас везли в больших санях, напоминавших по своему виду Ноев ковчег. С помощью казенных арестантских халатов, одеял и пледов, мы превратили наши сани в крытые кибитки, защитив себя, таким образом, от ветра и снега. Свои вещи мы везли сначала в тех же кибитках, в которых ехали и сами; но затем мы устроились гораздо удобнее: весь тяжелый груз мы сложили в отдельные сани, которые назывались «цейхгаузом». Наши конвоиры, состоявшие на этот раз из двух жандармов (для «высшего надзора» за солдатами и даже за сопровождавшим нас офицером) и нескольких пехотных солдат, быстро освоились с этим названием, и сами называли эту кибитку не иначе.— «Василий, сходи-ка к каптенармусу в цейхгауз да скажи ему, чтоб торопился ехать»,—скажет, бывало, жандарм конвоиру. Василий улыбается и отправляется к кибитке с кладью.

С собой мы везли только необходимые в дороге вещи: постель, провизию и пр. Между этой второй стадией нашего пути и этапным путешествием от Томска до Иркутска была громадная разница. Теперь нас везли уже не на простых деревенских дровнях в одну лошадь, а в просторных, защищенных от непогоды санях, запряженных тройкой быстрых лошадей. Расстояние от станции до станции мы проезжали не более чем в 2—3 часа. Правда, и теперь мы были настолько плохо одеты, что после часовой езды руки и ноги начинали испытывать нестерпимый холод; но во всяком случае терпеть приходилось недолго, и на ближайшей станции мы получали полную возможность отогреть озябшие члены. Таким образом, отдыхая на каждой станции, мы успевали сделать в течение дня по сто и более верст, в то время как прежде мы делали не более 20—25 верст в день.

Ненавистные этапы тоже исчезли. Пили чай, обедали, ночевали на станциях, в обстановке домашней, дышащей своеобразным крестьянским уютом. Мы избавились, наконец, от этих смрадных и грязных этапных стен, от решоток на окнах,

тяжелого соседства уголовной партии, вечной смены конвоя и от постоянного кольца солдатских штыков. Ночевки на станциях в чистых, уютных комнатах были после этапных ночевок истинным наслаждением. Правда, нам приходилось спать на полу, так как кроватей хватало только для прекрасного пола; но мы были молоды, а от сена, которое заменяло нам тюфяки, пахло таким хорошим, свежим запахом полей! Усталые, мы быстро засыпали на своих импровизированных постелях, и ничто не смущало нашего безмятежного, крепкого сна. Утром нам не приходилось уже растапливать печей и готовить чай. Со всеми этими мелкими надоедливыми заботами мы расстались надолго и вернулись к ним снова лишь на месте ссылки.

Как я уже сказал выше, наш конвой состоял теперь из двух жандармов и нескольких конвойных солдат. Никто из нас не страдал особой симпатией к жандармам, однако, я должен сказать, что в сравнении с российскими «синими мундирами», они могли смело сойти за настоящих джентльменов. Они вели себя сдержанно, были в достаточной степени вежливы и предупредительны, особенно по отношению к нашим дамам, и этого с нас было вполне достаточно. Чисто жандармская выдержка, с одной стороны, а с другой—постоянное присутствие при партии конвойного офицера, державшегося довольно прилично; все это давало нам возможность установить достаточно ровные и спокойные отношения, лишь изредка нарушавшиеся, но не отражавшиеся на общем положении вещей. Важно было и то, что в течение всего 22-дневного путешествия, конвой находился при нас бессменно, тогда как прежде он менялся каждые два дня. Много в этом отношении помогло нам и отсутствие уголовных; австрийских же шпионов, от которых мы никак не могли избавиться, мы держали на почтительном расстоянии от себя, и конвой, очевидно, считался с этим. Впрочем, наши конвоиры—солдаты иркутского батальона — были достаточно добродушные парни и резко отличались от тех конвойных солдат, с которыми нам приходилось иметь дело во время этапного путешествия. Они быстро освоились с нами и всегда держали нашу сторону в столкновениях с жандармами, которых они не долюбливали.

В то время, как это ни странно на первый взгляд, с «политиками» до известной степени «церемонились». Объясняется это в значительной степени тем обстоятельством, что в ссылку тогда шли, главным образом, интеллигенты. Жандармы и конвоиры прекрасно понимали, что каждый из нас в умственном отношении стоит выше не только их самих, но и офицеров. Этого было вполне достаточно, чтобы к ссыльным они относились с известным уважением. К тому же они видели, что офицер считается с нами, как с равными, а иногда даже получает от нас выговоры за то или иное нарушение наших прав.

Впоследствии, когда состав ссыльных сильно демократизировался, отношение к ссыльным со стороны начальства резко изменилось. Я помню, еще в одесской тюрьме мне пришлось натолкнуться на очень интересный случай такой перемены. Однажды туда привели целую партию каменщиков и штукатуров, захваченных в трактире во время сходки. Они пришли туда прямо с работы в обычном рабочем одеянии, покрытом пылью и забрызганном известкой; многие из них были даже—horribile dictu!—в лаптях, а не в обычных для городского жителя сапогах. Пользуясь поднявшейся в нашем корпусе суматохой, уголовный, подававший нам чай и состоявший у нас на службе в качестве тюремного Фигаро, быстро откинул форточку в двери и с недоумевающим видом проговорил: «Господин, а господин! Новую партию привели... говорят, политические, а только не похожи! Какие они политические... разве политические в лаптях ходят? Врут, пожалуй! Таких политических не бывает»...

Так смотрели на новый демократический слой политических уголовные обитатели тюрьмы; и я нисколько не удалюсь от истины, если прибавлю, что и наше тюремное начальство вполне разделяло этот взгляд. Интеллигентность, сравнительно высокая требовательность и полная готовность «политиков» отстаивать свои права—все это создало известную традицию, которую начальство обыкновенно не решалось нарушать; а если подобные нарушения и бывали, то они почти всегда заканчивались такими инцидентами, которые невольно приводили начальство в смущение. Так, в ответ на грубое насилие над Боголюбовым в Петербурге раздался выстрел Веры Засулич, истязания

Сигиды в карийской тюрьме привели к ужасному протесту в виде самоубийства целого ряда ее товарищей, протеста, который глубоко взволновал общественное мнение не только в России, но и на Западе. Большинству читателей наверное известны также и подробности кровавой драмы, которая разыгралась в Якутске в 1889 году и была вызвана попыткой местных администраторов ограничить в правах ссыльных, отправлявшихся в Колымск.

За последние 3—4 года до моего отъезда из Сибири состав ссыльных значительно изменился. В Сибирь хлынула волна, состоявшая из пролетарской массы. Уже одно количество ссылаемых должно было удесятерить работу конвойной охраны, и, вместе с тем, озлобить последнюю против невольных пришельцев. С другой стороны, вид этой массы не мог внушать особого «уважения» конвойной команде. Ведь новые «политики» были те же рабочие, те же крестьяне, с которыми солдаты сталкивались на каждом шагу. Отсюда понятно, почему на первых же порах местные власти, начиная от высших и кончая мелкой сошкой, сразу проявили необычайную грубость и жестокость в обращении с новыми ссыльными.

Приходилось все начинать с начала. Необходимо было освежить старую традицию новыми доказательствами умения отстаивать свои права. Снова начались бурные протесты, которые в некоторых случаях превращались в формальные сражения с войсками. Достаточно упомянуть о последней «Романовской» истории в Якутске, облетевшей весь мир, чтобы понять, во что обходится ссыльным борьба за самые ничтожные права. Виновником, вызвавшим эту исключительную даже в летописях ссылки историю, был отчасти все тот же Колымск, в жертву которому уже были принесены несколько молодых благородных жизней во время «Якутской бойни» в 1889 году.

Нет никакого сомнения, что при прочих равных условиях, новые товарищи-пролетарии быстро поставили бы разъяренное начальство на свое место. И если до сих пор ссылка продолжает быть адом, то ведь не нужно забывать, что такой же ад царит и во всей России, что озверение властей достигло теперь такой степени, при которой малейший проблеск протеста рассма-

тривается, как удобный предлог к кровавой расправе и сплошь и рядом провоцируется во имя последней. Борьба отдельной кучки ссыльных против насильников теперь слилась в общем потоке жгучего протеста сознательной России против гнета всесильной камарильи.

Нужна богатая палитра и опытная кисть для того, чтобы хоть в общих чертах дать представление о той удивительной панораме, которая разворачивалась перед нашими глазами, когда мы на бойких сибирских лошадях быстро мчались по гладкому санному пути, протянувшемуся бесконечной лентой по руслу Лены. Эта гигантская река, то захватывающая своими водами пространства в несколько верст ширины, то врывающаяся бурным кипучим потоком в узкое горло близко подошедших друг к другу скал, необъятным размахом своим удивительно гармонирует с беспредельными пространствами Сибири. Гордая и спокойная — она проводит большую часть года под толстым слоем льда и снега, но и летом ее покой нарушается сравнительно редко. Несколько пароходиков, изредка караваны баржей со всевозможным грузом и вереницы дровяных плотов... а затем все та же мертвая тишь, все то же дикое спокойствие.



Скала на берегу р. Лены.

Берега Лены удивительно красивы и величественны. Особенно хороши громадные отвесные скалы, подножьем своим уходящие в воду.

Тройки весело бегут то по середине реки, то совсем у берега, медленно всползают на крутой бугор и пропадают в густой

тайге, покрытой ровным, пушистым слоем снега, похожим на густую пену. Он лежит на соснах, елях, березах толстыми, резко очерченными пластами и придает ландшафту слегка деланный, декоративный вид. Иногда молодняк отказывается держать на себе тяжелую массу снега, сгибается в дугу и образует красиво выгнутую, украшенную причудливым, белым убором арку. Мы принимаем эти арки на свой счет и сравниваем их с жалкими невзрачными триумфальными воротами, остатки которых попадались нам на всем пути от Томска до Иркутска. Эти арки были построены во время следования ныне царствующего Николая II из Японии в Россию. Их строили подневольные крестьянские руки, а над нашими триумфальными воротами работала свободная стихия.

Мертвая, таинственная, почти жуткая тишина охватывала нас, когда мы пробирались узкой тропой сквозь эту дикую лесную щетину, до сих пор еще не знающую человеческой руки. Дорога настолько узка, что ямщики не считают возможным ехать старой упряжкой и запрягают лошадей «гусем». Это еще более увеличивает торжественность нашего шествия под непрерывным строем триумфальных арок. Кончился лес, и кибитки осторожно сползают с крутого яра на ровное полотно речной дороги. Снова проносятся мимо нас громады гранитных скал, снова мы огибаем чудовищные каменные быки, о которые не раз разбиваются во время сплава плоты и барки.

— Вот видите там камни... их четыре,—говорит ямщик, указывая кнутовищем на громадную серую массу, стоящую, словно тяжелое, массивное здание на правом берегу,—это «пьяные быки». Давно уже на эти камни нанесло казенный паузок со спиртом. Справиться не успели, и паузок разбился, а потом наши хватали бочонки... Водку всю выпили! Долго потом вся деревня ходила пьяная.

Жители станков, расположившихся на протяжении двух-трех десятков верст друг от друга по всему берегу Лены, находятся в кабальных отношениях к казне. Они живут почтовой гоньбой и несут своего рода натуральную повинность. Гоньба распределяется по душам, и если какой-нибудь член семьи выбывает, то на долю остальных членов остается все-таки старое количество перегонов. Этим и объясняется то глухое неудоволь-

ствие, которое было вызвано среди ленских ямщиков последней японско-русской войной. Как известно, первые полки были сформированы из сибирских запасных; таким образом, часть взрослого населения этих деревень должна была отправиться на верную смерть в какую-то Манчжурию, а на долю оставшихся выпала вся та работа, которую прежде исполняли ямщики, угнанные на войну. Когда я возвращался обратно, нередко на облучке моей кибитки оказывался малыш в отцовской шапке и в сапогах. Случалось не раз, что бедный мальчуган, которому было бы впору сидеть в школе или играть в бабки, совершал два перегона туда и обратно, не успев даже отдохнуть и напиться чая.



Замерзший водопад на берегу р. Лены.

Станок за станком, ряд деревень и городов, похожих на деревни, проносятся мимо нас. Проехали Киренск, при чем офицер, следуя инструкциям, данным ему в Иркутске, не разрешил нам ночевать в городе, чтобы мы не могли встретиться с двумя-тремя проживавшими здесь ссыльными. В Олекминске, однако, офицер нашел возможным уклониться от этой системы и разрешил нам переночевать у скопцов. Впоследствии я вернусь еще к этой несчастной, жалкой секте изуверов, которая могла развиться только в такой больной и измученной стране, как Россия. Скопцы приняли нас радушно: «Ведь мы тоже пострадали за правду, — говорили они, — ведь и нас тоже преследуют. Как же мы можем отказать вам в приюте?».

Благодаря искусственному уродованию организма, скопцы и наружным видом, и всей своей психологией резко отличаются

от нормальных людей. Желтые, одутловатые лица, почти лишенные растительности, дряблые обвисшие фигуры, тонкий голос, — все это сразу бросается в глаза при первой же встрече со скопцами. Живут они одиноко и держатся довольно обособленно от прочих обывателей. Почти у всех в доме имеются и хозяйки— свои же скопчихи, которых они называют «сестрами». Забавно было видеть смущение скопцов, когда наши дамы, совершенно не знакомые с обычаями скопцов, как и все мы, вздумали поздороваться за руку с нашим хозяином.

— Простите, сестрица, — проговорил смущенный хозяин, пряча руку за спину,—а только у нас к женщинам прикасаться не дозволяется, потому что это грех. От них ведь весь соблазн и идет...

Когда мы ложились спать, хозяин поспешно стащил свою перину с кровати, боясь очевидно, чтобы и перина не была осквернена прикосновением женского тела.

Лишенные удовольствий семейной жизни, скопцы направляют всю свою энергию на накопление капитала. У скопцов лучшие дома, парники, огороды, мельницы... и все это построено аккуратно, прочно, словно рассчитано на многочисленное потомство. Большинство из них люди денежные. Нужно прибавить, что без туго набитой мошны скопцам вообще приходилось бы очень круто. По своему положению они занимали последнее место среди ссыльных. До самого последнего времени им под страхом сурового наказания запрещались отлучки, и таким образом места, где они жили, превращались для них в настоящую тюрьму. Лишенные гражданских прав, они должны были конспирировать во всем, и только туго набитая мошна давала им возможность купить себе хотя бы относительный покой. Силен закон, но власть денег все-таки сильнее, и сибирская администрация не раз смягчалась перед скопческими рублями, овощами, мукой и пр.

Вскоре после нашего приезда в Олекминск нас посетили два товарища, коротавшие здесь ссылку. Один из них, бывший офицер Дзбановский, отбыв впоследствии свой срок, отправился в Иркутск, где поступил на железную дорогу. Здесь он прожил несколько лет и снова угодил в ссылку, но на этот раз уже в Средне-Колымск. Другой, доктор Абрамович, пользовался

во всем округе громадной популярностью. Это был один из тех носителей культуры в Сибири, которые своей медленной, упорной работой в течение десятков лет подготовили победу левых во время выборов в первую и вторую Государственную Думу. Встретились, познакомились и сейчас же вступили в жаркий спор о грядущих судьбах России. Время пролетело быстро, а на следующий день мы покинули гостеприимный кров скопца и снова понеслись по беспредельному полотну красавицы Лены.

До самого Якутска дорога шла довольно гладко. Иногда, впрочем, с нами случались неприятные приключения, особенно когда мы на всем ходу попадали в «наледь». В тех местах, где русло реки загромождено отмелями, в суровые морозы вода промерзает до дна. Таким образом, образуется нечто вроде плотины, мешающей свободному течению подледной воды,которая выбивается через трещины наружу и заливает огромные пространства, образуя настоящие озера; через некоторое время на поверхности такого озера появляется тонкая ледяная кора, маскирующая наледь. Попасть в такую штуку—дело довольно неприятное. Не раз вода подходила к нашим ногам, а вещи погружались в холодную ванну. Книги, платья, провиант пропитывались влагой, и на ближайших остановках нам подолгу приходилось заниматься просушкой своего имущества. Сначала мы волновались, попадая в такие наледи. Особенно трепетали наши дамы, боявшиеся утонуть в этих предательских водяных западнях, но потом мы привыкли и к этому. По дороге от Якутска к Средне-Колымску мне часто приходилось проезжать по таким озерам поверх реки. Тут-то ледяная ванна могла бы окончиться очень печально: случалось, что на протяжении сотен верст мы не встречали ни одного человеческого жилья, и риск простудиться, таким образом, получался огромный.

День за днем, и мы все ближе и ближе подходим к своей цели. Дорога становится все утомительнее, появляется какая-то непреодолимая потребность оторваться от своих ковчегов, хоть на несколько дней освободиться от тяжелой верхней одежды, сковывающей члены, сходить в баню, — словом, хоть немного приобщиться к культуре, если только это слово вообще применимо к тому, что нас ожидало впереди.

Еще несколько томительных, бесконечных дней, и наш поезд торжественно въехал в столицу якутского царства. Вторая часть пути сделана. Здесь снова происходит административное процеживание. Одни остаются в Якутске, других отправляют в Вилюйск, и лишь четырем предстоит еще совершить громадное путешествие в Верхоянск и Средне-Колымск, далеко за пределы того, что называется человеческой жизнью.

ГЛАВА III.

От Якутска до Верхоянска.

ЯКУТСК — последний город на нашем пути. Нельзя было и отказать ему в действительном сходстве с настоящими городами. Правда, дома здесь почти сплошь деревянные и одноэтажные, улицы немощеные и страдают отсутствием фонарей, но зато здесь есть несколько средних учебных заведений и много лавок, попадаются цирюльни, бани и даже, как это ни странно, настоящие извозчики. Когда я возвращался обратно, Якутск приобрел много новых культурных черт: появился любительский театр, телефоны, у самого въезда в город высоко вытянул свои трубы водочный монопольный завод, а сам Якутск уже несколько лет был связан проволочною телеграфною нитью с главным нервным узлом Сибири — Иркутском, а через Иркутск и с Россией.

Мы стремились к Якутску не только потому, что здесь мы рассчитывали отдохнуть от тяжелой дороги. Была и другая причина, изрядно волновавшая нас и служившая темой для бесконечных разговоров в пути. Наша партия состояла исключительно из социал-демократов, успевших окончательно порвать с народничеством и приступивших еще в 1892 г. к пропаганде социал-демократических идей среди пролетариата. Свои взгляды мы защищали со всею страстностью прозелитов, не допускавших никаких сомнений в истинности и справедливости марксистской точки зрения. Впрочем, и сама жизнь уже давала тогда полное основание предполагать, что в самом непродолжительном

времени социал-демократическим взглядам удастся пустить глубокие корни в широких слоях рабочих и интеллигенции. Книги Бельтова и отчасти Струве сыграли роль первой ласточки надвигавшейся пролетарской весны. Колоссальные стачки в Лодзи (1902 г.), Ярославле (1905 г.) и других промышленных центрах окрыляли нас широкими надеждами и давали нам серьезное оружие в борьбе с инакомыслящими. Мы хорошо знали, что в Якутске нам предстоит ряд жестоких баталий с представителями старого революционного народничества. Впервые мы должны были столкнуться лицом к лицу со старым поколением, вложившим столько энергии и принесшим столько жертв в борьбе за свои идеалы. Нам и прежде приходилось иметъ дело с народническими взглядами, но мы встречали их, главным образом, на страницах книг и журналов, при чем, благодаря давлению цензуры, эти взгляды проводились в изуродованном и далеко не полном виде. Теперь представлялась возможность проверить себя и других, воспользовавшись полной «свободой слова».

Но это была одна сторона дела. Нам предстояло встретиться лицом к лицу с представителями того славного поколения, которое вынесло на своих плечах великую, беспримерную борьбу один-на-один с самодержавием, придавившим солдатским сапогом измученную, изголодавшуюся родину. Уцелевшие от пули, петли, казематов Петропавловской крепости и Шлиссельбурга, со всех концов России они были согнаны в рудники карийской и других каторжных тюрем. Гигантская сила воли и несокрушимая энергия победили и это испытание; тогда по окончании каторги бывшие ее обитатели в качестве поселенцев отправились в Якутск и прилежащие к нему улусы, освободив свое место в каторжных тюрьмах для новых и новых борцов за свободу.

Мы много читали и знали о том, как боролись наши предшественники. Глубоким преклонением окружали мы их имена, и если можно сказать, что социализм являлся для нас своего рода религией, то в лице этих борцов мы имели и своих святых. Вот почему не без некоторого волнения и нетерпения мы въезжали в Якутск.

Сначала нас поместили в местную тюрьму, куда немедленно явился один из местных ссыльных Дулемба, некогда игравший видную роль в польской партии «Пролетариат». Вместе с другими

товарищами, Рехневским, Маньковским, Лури и Коном, он пробыл много лет на каторге, а теперь коротал время в Якутске, занимаясь столярным ремеслом. Этот маленький подвижный старичок, квартира которого была постоянным местом для собраний, вечеринок и ночевок для приезжающих ссыльных, взял нас под свою опеку и принял все меры, чтобы мы не остались без квартир по выходе из тюрьмы. Вместе с ним в нашей общей камере появилась большая корзина с пирожками, котлетами



Старинная казачья-крепость в г. Якутске.

и другими соблазнительными вещами, опустевшая в одно мгновенье.

На следующий день нас выпустили из тюрьмы, и мы очутились на воле, предоставленные самим себе. Нам уже не нужно было вставать и ложиться в определенное время, мы были свободны от конвоя, кибитки уже больше не торчали перед нашими глазами, мы ходили в баню и в гости, не считаясь ни с какими инструкциями. Это была настоящая свобода в неволе, свобода птицы, которую посадили в большую клетку, но с ног которой сняли назойливые, мешающие двигаться путы. Начались вече-

ринки, парадные обеды, на которых мы были постоянными гостями.

Трудно признаться, а надо сказать, что на первых порах дело не обошлось без некоторых трений между нами и стариками. Теперь, бросая ретроспективный взгляд на ссыльную жизнь, я нахожу, что во многих отношениях мы были слишком резки и требовательны к старикам и в то же время слишком снисходительны к самим себе. Мы просто платили дань своей молодости, и, как мне кажется, многие из стариков отлично это понимали и с этим считались. Так или иначе, но впоследствии я не раз с удовольствием вспоминал о наших шумных вечеринках, на которых обе стороны вели ожесточенные дебаты, делились впечатлениями и просто веселились. У карийцев был чудный хор, и многие песни выполнялись ими с художественной красотой. Много приятных часов провели мы, выслушивая долгие, тяжелые по своим подробностям и всегда безыскусственные рассказы карийцев о том, как работали они в свое время, как жили и страдали на каторге. Эта мрачная эпопея, только теперь попавшая на страницы книг и журналов, заставляла не раз призадумываться и членов нашей партии над всем, что было в их прошлом и что сулило им будущее.

Прошло две недели. Полиция нашла, что мы достаточно отдохнули после восьмимесячного путешествия, и в один прекрасный день предложила мне и моим товарищам собираться в дорогу.

Впрочем, нам и самим хотелось поскорее довести до конца затянувшееся путешествие. Надо было его окончить во что бы то ни стало, успокоиться где бы то ни было. К тому же контраст между 17-месячным сиденьем в крохотной камере одесской тюрьмы и 8-месячным беспрерывным путешествием был слишком велик. Нервы измотались, организм властно требовал покоя, а впереди предстоял еще двухмесячный путь при таких условиях, пред которыми бледнели все трудности предыдущей дороги.

Итак, мы начали готовиться в дорогу. Была середина марта, и старожилы уверяли нас, что теперь уже незачем так усердно заботиться о меховой одежде. В пути я не раз пожалел о том, что придал их словам особенно много веры. Гораздо удачнее оказались их советы по продовольственному вопросу.

Мы запаслись целыми мешками котлет, пирожков, мяса, изрубленного в куски [1]), пельменей, хлеба и т. д. Все это было в мерзлом виде и более походило на куски камня, чем на провизию, годную для употребления. Кроме того мы повезли с собою запасы сахара, табака, спичек и даже соли. Уже по одному тому, что мы брали с собой, можно представить себе, в какую пустыню отправляла нас предусмотрительная администрация.

Наш новый страж, заменивший на этот раз жандармов и конвоиров, сопровождавших нас до Иркутска, принимал в нашем снаряжении самое деятельное участие. Нужно прибавить, что название «стража», собственно говоря, совершенно не подходило к казаку, провожавшему нас до Верхоянска; скорее его можно было бы назвать просто нянькой. Он следил за нашей кухней, распоряжался насчет лошадей и оленей, ругался с якутами, если они были неисправны или слишком долго возились, словом, исполнял все те работы, с которыми для нас справляться в дороге было бы неудобно или невозможно. В то же время он исполнял весьма важную роль переводчика. О других чисто служебных функциях ему заботиться не приходилось. Накормив нас ужином и напоив неизбежным чаем, он спокойно укладывался спать, отлично понимая, что никакое бегство из здешнего края невозможно. Только одна дорога ведет из Верхоянска или Колымска в Якутск. По этой дороге на значительных расстояниях друг от друга расположены одинокие станки, и только на этих станках можно получить лошадей или оленей. Если бы кому-нибудь из нас и пришла в голову шальная мысль тайком вернуться обратно, то ему предстояла довольно плачевная альтернатива: или замерзнуть где-нибудь на дороге, или же засесть на ближайшем станке, так как содержатели этих станков не имеют права везти кого бы то ни было без предъявления проходного бланка.

За все время существования верхоянской и колымской ссылки, т.-е. приблизительно на протяжении 20 лет, был один

---

[1]) Для того, чтобы привести замороженные куски мяса или рыбы в талое состояние, достаточно опустить их в холодную воду. Спустя минуту куски покрываются снаружи тонкой, ледяной корой, а внутри становятся совершенно мягкими.

только случай удачного бегства из Верхоянска в Якутск на собственных лошадях, имевший место весною 1904 г. Это была отчаянная попытка трех удивительно решительных и энергичных ссыльных, приведшая в изумление даже местных жителей, которые чувствуют себя в тайге и тундре, как в родной стихии. То, что они испытали в дороге, не поддается описанию. Это была сплошная пытка на протяжении 1.000 верст.

«Неоднократно, переправляясь через бурные и глубокие реки, они были на краю погибели и только случайно не сделались жертвой водяной стихии.

«Целыми неделями они блуждали по тайге, сопровождаемые одичавшей собакой, жадно стерегшей, не свалится ли кто-нибудь из них...

«Они были лишены съестных припасов и испытывали мучения голода.

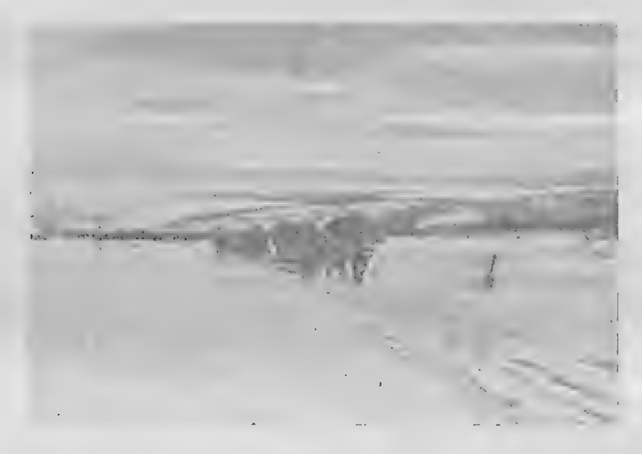
«Непроходимые и топкие места в многочисленных тундрах, встречавшихся по их пути, всасывали в себя несчастных. Однажды один из них заснул в болоте между двумя кочками, погруженный в трясину по пояс. Силы оставили его»[1])...

И все-таки недалеко от Якутска их арестовали и отобрали лошадей.

Сборы кончены... последняя прощальная вечеринка, и на следующий день перед воротами нашего дома появился обоз, состоявший из нескольких одноконных нарт. Уже один вид этого обоза не внушал особого доверия и пророчил нам печальное будущее. Наши сани (нарты) не имели ничего общего с теми бесподобными кибитками, которые так надоели нам за последнее время. Увы, теперь за такую кибитку я готов был отдать очень много! Устройство якутских нарт очень простое. Они состоят из деревянных полозьев, на которых с помощью вертикальных подставок (копыльев) укреплена рама, выстланная тонкими досками. Спереди к изогнутым концам полозьев привязана тонкая дуга из тальника. За эту дугу захлестывается ремень, забрасывающийся связанными концами за луку седла и заме-

[1]) Я взял это картинное описание единственного удачного побега из Верхоянска из интересной статьи В. Бернштама: «Якутская область и ссылка», помещенной в сборнике «За право!».

няющий собою постромки. Ямщик сидит на коне, а пассажир помещается на нарте, при чем ему приходится сидеть прямо на досках, вытянув ноги вперед, словно в ванне. Для удобства за спиной мы ставили ящик, заменявший нам спинку экипажа. На таких санях нам пришлось ехать два месяца с лишним. Но что всего больше угнетало и раздражало нас, так это убийственная медленность передвижения, которая обнаружилась с первых же шагов нашего путешествия. Можно подумать, что в этой полумертвой стране люди совершенно не имеют понятия о том,



В пути.

что значит слово «быстро». Все делается как-то лениво, неохотно, и первое время мы никак не могли примириться с тем обстоятельством, что больше шести верст в час нам не придется делать.

Простились с товарищами, с некоторыми навсегда, с другими в лучшем случае на 10 лет, уселись на нарты, закутав ноги в арестантские халаты, полушубки, одеяла, и тихо двинулись вперед в страну полуночного солнца. Уже с самого начала мы убедились, что нам приходится распрощаться с тем, что органически связано с так называемой культурой. Просторные, чистые, теплые сибирские избы сразу отошли в область преданий. Теперь нам приходилось ночевать в якутских юртах, по устройству своему, собственно говоря, совершенно не подходящих к местному климату.

Пусть читатель представит себе четыре столба, врытых в землю и образующих своими основаниями четыре угла квадрата. На вершинах этих столбов устанавливается рама («венец»). Таков остов юрты. Затем к этой раме с боков приставляются торчком и с известным уклоном бревна вплотную друг к другу. На раму укладываются такие же бревна, образующие потолок. Пол в лучшем случае настилается из тонких круглых жердей, а иногда его и вовсе не бывает. Затем стены обмазываются снаружи глиной и навозом, на потолок насыпается земля, и юрта готова. Отапливается она камельком, который устраивается так же примитивно, как и сама юрта. Это — круглая, прямая труба, широким концом упирающаяся в деревянный сруб, заполненный землей, а узким концом выходящая наружу и слегка возвышающаяся над крышей. Часть этой трубы срезана спереди у основания, образуя отверстие, похожее на полукруглую дверь. Камелек устраивается из тонких жердей, обмазанных внутри толстым слоем глины. Во время топки длинные, тонкие поленья устанавливаются в камельке стоймя, так что нижние концы их упираются в земляной «под» или основание камелька, а верхние соприкасаются с поверхностью задней стенки. Этот примитивный камин обогревает юрту только во время топки, но стоит хоть на короткое время прекратить ее, и в юрту немедленно вползает полярная стужа. Труба закрывается сверху простой покрышкой из оленьей или коровьей шкуры.

Кроватей в юртах нет. Они заменяются узкими нарами (ороны), закрытыми спереди и идущими вдоль стен. Это не только кровати, но в то же время и стулья, и диваны. Если теперь прибавить, что во всех этих юртах царит неслыханная грязь и что в подавляющем большинстве случаев тут же за камельком, и лишь изредка в особых пристройках, сообщающихся впрочем с юртой, помещаются коровы и телята, то читателю станет ясно, почему, по крайней мере на первых порах, эти новые отели не представляли для нас ничего заманчивого и привлекательного.

Я говорю: «по крайней мере на первых порах» потому, что впоследствии даже и такие юрты казались нам раем. Так постепенно, шаг за шагом, по мере приближения к своей невольной цели мы все ниже и ниже опускались в своих требованиях и считали благом то, что прежде вызывало в нас вполне законное

чувство брезгливости и отвращения. Плохо было в грязных арестантских вагонах, но они были образцом комфорта в сравнении с нашими плавучими тюрьмами на баржах. Неважно жилось нам и на последних, но все-таки это было гораздо лучше, чем беспрерывное, утомительное путешествие на неуклюжих дровнях и в кибитках, похожих на ковчеги. Но все эти способы передвижения стояли все-таки неизмеримо выше, чем езда на этих проклятых якутских нартах. Что же касается наших жилищ, то их можно расположить в следующем убывающем порядке: тюрьма, этап, юрта и, наконец, «поварня».



Якутская юрта зимою.

Самые ужасные лишения в пути мы испытывали как раз в этих маленьких лачужках, выстроенных для остановок между почтовыми станциями. Сколочены они кое-как, на скорую руку, и то, что в юртах является недостатком, для поварен неизбежно превращается в неотъемлемую характерную черту. Земляной пол, труба без затычки, плохо прикрывающаяся дверь, крохотное оконце, с льдиной вместо стекла, и грязь... повсюду грязь, объедки, обглоданные кости, — словом, все, что нужно для того, чтобы немногие минуты отдыха были отравлены в конец.

Едем сначала на лошадях, потом на оленях... Едем изо дня в день, словно без этого жить не можем. Узкой прихотливой

лентой вьется наша дорога по беспредельной, покрытой белоснежным саваном тундре. Вот протянулась она прямою стрелкой по огромному озеру, напоминающему своими гигантскими размерами море; долго тянется это озеро, утомляя усталый взор своим мертвым, тяжелым однообразием. Кончилось озеро, и дорога едва заметной нитью вбегает в сосновый высокоствольный лес. Красивые, высокие, прямые, как стрелы, сосны обступают нас со всех сторон, словно колонны заколдованного замка. Над нами висит какая-то жуткая, таинственная тишина. Малейший шорох, скрип нарты, щелканье оленьих копытцев или легкий стук оленьих рогов отдаются в лесной чаще, словно в подземелье. Все мертво, и только наш поезд, медленно пробирающийся по едва заметной лесной дороге, нарушает этот величественный мистический покой застывшего в холодном, бесстрастном сне соснового бора. Иногда на-ходу мы окликаем друг друга, и голоса наши приобретают какой-то странный, чуждый оттенок, и кажется, будто это вовсе не наши голоса, а оклики каких-то невидимых великанов, населяющих этот заколдованный лес. Дорога вьется между кустами и деревьями, то взбираясь на высокие холмы, то пропадая в русле лесной речки, чтобы снова появиться на опушке, покрытой круглыми болотными кочками, похожими на человеческие головы.

Иногда в таком лесу застигала нас полярная ночь. Тогда перед нами бесконечной вереницей проходили причудливые картины, очень напоминавшие по своим тонам знаменитый Беклиновский «Остров мертвых». В сильные морозы пар, поднимавшийся от уставших, разгоряченных оленей, закрывал их густым облаком, и казалось будто наши нарты скользят между колоннами заколдованного лабиринта сами собой или влекутся вперед какою-то невидимою силой. Я не помню, чтобы когда-либо в течение всей моей жизни мне приходилось так глубоко наслаждаться интимною жизнью природы, предоставленной самой себе и не извращенной прикосновением человека.

К ночи мороз крепнет. Руки и особенно ноги постепенно стынут, и вскоре начинаешь испытывать такое ощущение, будто кто-то прикладывает к ним ледяные компрессы, колет неуловимо-тонкими иглами и высасывает из них жизненную силу. Затем все тело и оконечности начинают ныть и, наконец, утрачивают

чувствительность. Тихое созерцательное настроение сменяется беспредельной злобой. Не знаешь, куда спрятаться от этого вездесущего и всюду проникающего холода. Пробуешь отбивать барабанную дробь ногами и руками о нарту, но и это не помогает. Ноги мои были обуты в маленькие дешевые катанки, и случалось, что они коченели до такой степени, что я снимал свою обувь на морозе и пробовал напялить на них свои меховые рукавицы, стараясь хоть на минуту отогреть совершенно застывшие пальцы. И теперь еще, когда я успел уже основательно позабыть о бесконечных лишениях ссылки, отмороженные ноги



Поварня.

часто напоминают мне об этих ужасных, бессмысленных пытках, которые проделывал над нами полярный холод в пути.

— Много ли до станка? — спрашиваешь казака, тая в душе надежду, что, быть может, еще немного, и мы, наконец, подъедем к станку, где можно будет обогреть измученное, озябшее тело...

— Пять верст еще будет, — отвечает невозмутимо казак.

— Больших или маленьких?...

Если маленьких, то это еще ничего. Это значит, что настоящих верст будет не более трех. И достаточно, чтобы казак произнес это заветное слово, как тихое спокойствие начинает наполнять душу. Полчаса еще можно потерпеть, а затем — блаженный отдых. Перед глазами рисуются картины одна заманчивее

другой. Ярко пылает камелек, охватывая теплым ласкающим светом внутренность станционной юрты... На маленьком столике в стаканах и чашках дымится легким благовонным паром кирпичный чай с молоком... На таганке, медленно оттаивая, жарятся огромные котлеты... Все помыслы, вся фантазия интеллигентного человека направлены только на одно: скорее к теплу и к еде!

И вот, когда все тело буквально превращается в какую-то деревяшку, а разгоряченная фантазия приближается к галлюцинациям, с передней нарты раздается громкое торжествующее «ура!..». Еще одна, другая томительная минута, и наши нарты медленно вползают во двор, огражденный легкою изгородью из жердей. Мы быстро соскакиваем, бросаемся в юрту, сбрасываем с себя шубы, меховые шапки, рукавицы и жадно припадаем к пылающему камельку, этому великому источнику тепла и света, который теперь для нас дороже всего и о котором мы мечтали в течение целого дня. Пусть в нашем новом доме «на час» грязно и неуютно, пусть тут же около камелька толчется корова с телятами, мы все-таки чувствуем себя на седьмом небе и готовы забыть про все эти мелкие и, в сущности, вовсе неважные дефекты якутского жилья.

Нужно отдать справедливость удивительному гостеприимству, которое оказывают якуты всем проезжающим. Для них отводятся лучшие места в юрте, их стараются угостить как можно сытнее, хотя бы в данный момент запасы у самого хозяина были на исходе. Все это делается без всякого расчета на вознаграждение. Обыкновенно мы отдаривались несколькими кусочками сахара, горстью ржаных сухарей и несколькими листочками черкасского табака. Все это принималось хозяевами не как плата, а как гостинец или знак благодарности.

Обогрелись, поужинали, пора на боковую. Организмом овладевает какая-то мучительная и в то же время сладостная дрема; глаза слипаются, руки и ноги отказываются повиноваться, и через несколько минут злополучные путешественники засыпают мертвым сном.

Утром, в ожидании лошадей или оленей, мы знакомимся с обитателями юрты. Особенно занимают нас малыши с их огромными головами и вздутыми животами. Как маленькие

зверьки, они прячутся за камельком и оттуда с любопытством впиваются своими узкими блестящими глазенками в странных бородатых гостей. Несколько кусков сахара служат прекрасным связующим звеном между этими дикарями и представителями чуждой расы. Впрочем, на их долю выпадают и другие удовольствия. Я не раз замечал, как они с жадностью вылизывали языком наши тарелки и сковородки и доставали ручонками со дна котелка остатки пельменей и крупы. Случалось при этом, что некоторые из них второпях разгрызали попадавшиеся в остатках супа горошины крупного перца; при этом они корчили уморительные гримасы, но проделывали это молча, словно опасаясь привлечь внимание старших.

Зажиточных якутов мы встречали по дороге мало; большею частью это были содержатели станков, выделявшиеся своим богатством среди остальной массы якутского населения. У них были довольно просторные и аккуратно выстроенные юрты, порядочное количество скота; но в остальном они мало отличались от других менее состоятельных сородичей.

Со станка мы старались выехать пораньше, чтобы иметь в своем распоряжении как можно больше времени и добраться до ближайшей юрты или поварни засветло. Стояла ли на дворе ясная погода или бушевал ветер и шел снег, мы каждый день усаживались на свои нарты, как будто исполняли добровольно взятый на себя долг или вынуждались к этому непреодолимой силой. А между тем ни того ни другого в сущности не было, и мы могли оставаться на каждой ночевке, сколько хотели. Но в том-то и дело, что юрта была для нас заманчивой только к концу дня, когда запас энергии истощался и когда мы готовы были отказаться от всяких удобств, только бы обогреться, поесть и забыться во сне. К утру наши силы восстановлялись, и снова в душе поднимался протест против этой грязи, удушливого смрадного воздуха, с которым мы никак не могли примириться; и тогда нас снова влекло на простор пустыни, холодной, снежной, утомительной в своем безмолвии, но чистой и красивой в своем зимнем уборе.

И опять скользит наш поезд, пробираясь по озерам, руслам рек, замерзшим болотам и лесам, то вползая на холмы, то пропадая в ложбинах. Проходит несколько часов, и мы останавли-

ваемся на чаевку. Если по пути не попадалось какого-нибудь жилья в виде поварни или юрты, мы располагались на краю дороги, под открытым небом («на сендухе»). Ямщики разводили костер, подвешивали чайники, и издали нас можно было принять за туристов, устроивших оригинальный пикник. С этими громадными кострами, которые не раз на всем протяжении пустынной дороги обогревали нас своим причудливо пылавшим огнем, связаны у меня самые приятные воспоминания. Особенно любил я следить за тем, как сквозь синий, струящийся к далекому небу дымок расплываются и дрожат, волнуясь прихотливыми очертаниями, кусты, деревья, фигуры ямщиков и оленей. Выпивалось бесконечное количество чашек крепкого кирпичного чая с ржаными сухарями, а затем обоз снова пускался в путь, чтобы к вечеру добраться до какого-нибудь жилья или поварни.

Наши лошади становились все хуже и хуже. Бывали дни, когда мы делали не более четырех верст в час. Глухое отчаянье овладевало нами. Мы набрасывались на казака, который, в свою очередь, срывал свой гнев на ямщиках; а эти молчаливые, сумрачно спокойные дети снежной пустыни беспомощно разводили руками, ссылаясь на то, что теперь весна, что кочт устал от усиленной зимней гоньбы и больше служить не может. И печальнее всего было то, что не было виноватых, что они были так же правы, как и мы. Так проехали мы первые 300 верст. На одном из станков, куда наши лошади едва дотащились, казак сообщил нам очень приятную новость. «Завтра, — сказал он, — мы коней покинем. На оленях поедем. Однако, скорее будет».

И, действительно, на следующий день перед юртой появился ряд длинных узеньких нарт, в которые были запряжены попарно изящные, легкие олени, казавшиеся особенно маленькими в сравнении с тяжелыми, неуклюжими лошадьми. Эти прелестные существа, с тонкими, стройными ногами, грустным, покорным взглядом больших выпуклых глаз и красивыми развесистыми рогами, казались такими слабыми, что мы на первых порах усомнились в правдивости слов нашего казака. Вскоре, однако, оказалось, что казак говорил правду.

Широко расставляя ноги, вытянув шею и тяжело дыша, олени мчались со скоростью 10—12 верст в час, совершенно не

считаясь с препятствиями в виде кочек, пней и стволов свалившихся деревьев, попадавшихся нам по пути. Иногда в этой бешеной скачке то одна, то другая нарточка переворачивалась на полном ходу, а пассажир вылетал из нее, словно пуля, и почти целиком уходил в глубокий снег, стоявший широким неподвижным морем по обе стороны узенькой дороги. Раздавался отчаянный крик, и весь поезд, связанный ремнями в одно неразрывное целое, останавливался и подбирал упавшего.

Чем ближе мы подъезжали к станку, тем сильнее уставали олени. То один, то другой из них начинал нетерпеливо, протестующе дергать и мотать головой, стараясь оторваться от ремня, которым каждый из них был привязан к задку передней нарты. Но передовые олени не обращали на это никакого внимания и продолжали тащить несчастного даже в тех случаях, когда он падал на снег. Тогда ямщик останавливал поезд, подходил к оленям и употреблял все меры, чтобы поднять упавшего. Он бил его по спине, по бокам и по голове тонкой гибкой палкой, заменявшей кнут, окапывал снегом ноздри и рот оленя, чтобы узнать, не притворяется ли он мертвым, и только убедившись в том, что олень больше действительно итти не может, оставлял его в покое. В упряжку вводился запасный олень, бежавший все время за поездом на ремне, и мы отправлялись дальше. Случалось и так, что мнимый больной спустя короткое время осторожно поднимал голову и убедившись, что мы отъехали уже довольно далеко, неожиданно вскакивал на ноги и во все лопатки



На оленях.

удирал в ближайший лес. Но случаи такого лукавства были очень редки. Чаще же всего эти покорные животные, безмолвные, как окружавшая их снежная пустыня, усердно выполняли свой долг, и если оказывалось, что он превышает их силы, они падали мертвыми без стона, словно сраженные меткою пулею.

Кормежка оленей происходит в пути, в тех местах, где под снегом находятся поросли мха («ягель»). Олени сами разгребают копытцами снег и добывают себе корм. Достаточно прирученные, чтобы итти в упряжке, они все-таки не дают человеку подойти к себе близко, и местные жители ловят их с помощью



Кормежка оленей.

арканов, которыми они владеют в совершенстве. Но интереснее всего тот способ, к которому прибегают местные жители, чтобы удержать пойманных оленей в определенном месте около юрты. Для этого достаточно окружить стадо кольцом из ремней, положенных на небольшие тычинки, воткнутые в снег. Получается легкая загородка, через которую олень может перешагнуть совершенно свободно, а между тем это не приходит ему в голову, и он беспомощно бродит в заколдованном кругу, даже и не пытаясь освободиться.

Со стороны это зрелище в общем производит довольно комическое впечатление, но разве мы—люди далеко ушли в этом отношении от бедных глупых оленей? Разве мы не бродим бес-

помощно всю жизнь в кругу всевозможных предрассудков, с которыми при известном желании было бы так легко справиться и которые тем не менее мы считаем непреодолимыми? И разве весь современный строй со всеми его страданиями и бедствиями не держится в сущности на гипнозе масс, безусловно заинтересованных в замене этого строя новым, более совершенным, и все-таки предпочитающих гибнуть в тех узких границах, которые установлены для них власть имущими? В этом смысле — увы! — «царь животных» вовсе не так далеко ушел от своих низших собратьев.



В стране озер.

Чем дальше отъезжали мы от Якутска, тем яснее и отчетливее чувствовалось, в какую ужасную, ненормальную обстановку мы попали по распоряжению свыше. Мы старались скрыть друг от друга то тревожное настроение, которое невольно охватывало нас при виде этой немой пустыни, где люди коснеют в диком, беспомощном варварстве и где каждый кусочек хлеба ценится буквально на вес золота. И все-таки это настроение прорывалось на каждом шагу то в излишней резкости во взаимных отношениях, то в угрюмом молчании, которым мы встречали все окружающее. Вокруг нас уже не было стен, не было и ненавистного конвоя, но эта могила, этот беспредельный снег, стерегший нас со всех сторон, шаг за шагом убивал в нас веру в гряду-

щее будущее, которое начинало вырисовываться перед нами в самых мрачных красках. Все реже вступали мы в разговоры друг с другом, все реже раздавался смех. Холод, сковавший своими мертвыми объятиями леса, реки, озера, придушивший всю природу легким, но гнетущим саваном снега, придавил и нас — детей веселого, знойного юга. Это была тюрьма без оград и запоров, пытка без мучителя, издевательство бесстрастной стихии над страстями и стремлениями живых, но заживо погребенных и бессильных людей.

День проходил за днем, одна неделя сменялась другою, а мы все продолжали подвигаться вперед по пути, ведущему нас в Верхоянск и Колымск.

Высокий горный кряж отделяет Якутскую область от Верхоянского края. Одна стена нашей необъятной тюрьмы была уже далеко за нами — это были Уральские горы. Теперь нам предстояло перевалить через другую, и мы сделали это. Целый день, то взбираясь на почти отвесную кручу, то срываясь и падая вместе с камнями вниз, мы упорно боролись с этим новым препятствием, словно за ним скрывалась неведомая обетованная страна, предмет наших затаенных мечтаний, цель нашей жизни. Напрягая все силы, задыхаясь и обливаясь потом, мы брали приступом эту стену. Во имя чего? Кто мог заставить нас это делать?..

А между тем мы шли безмолвные, как эти жалкие, покорные олени, и только изредка резкие крики вырывались из негодующей груди. Шаг за шагом завоевывали мы, как это ни странно, право жить и страдать в новой тюрьме. Нас не вязали, нас не заковывали в кандалы, не подгоняли сзади ружейными прикладами, и все-таки мы шли, и иногда мне казалось, что унизительнее этой обстановки ничего нельзя себе представить...

Взобрались на вершину. Отсюда, как на ладони, разворачивается перед нами величественная панорама замерзшего мира. Отсюда громадные озера кажутся маленькими белыми кружками, окаймленными тощей полоской чахлого леса, реки — узенькими ручейками, а кругом, на сколько хватает глаз, безбрежное белое море и всюду смерть, всюду беззвучный, всеубивающий холод.

На самой вершине стоит невзрачный деревянный крест, поставленный якутами. Этот символ всепрощающей любви играет

здесь довольно плачевную роль. Не только якуты, но и местные русские жители увешивают его конскими волосами, тряпочками, кладут у его подножья листочки табака, мелкие деньги и другие пожертвования. Все это делается для того, чтобы задобрить злых духов и, таким образом, обеспечить себе безопасность в дальнейшем пути. Наш казак, плутоватый парень, уже сильно испорченный городской культурой, относится скептически к чудодейственной силе этих жертвоприношений.

— У меня в это веры нету. А вот прошлый год Пронька барыню из ваших провожал, она в Якутск ехала. Так она спрашивает его: «Как, Пронька, деньги оставить надо или нет?» Пронька и говорит: «Сами знаете, барыня, а мы в это не верим. Якуты разве... вот они любят, когда кладут. Думают, дорога легче будет». Барыня рубль положила, а Пронька назад вернулся да и все скрал... Ей богу... ведь вот какой фартовый парень!

Мы вырезали на этом кресте свои имена, соблазненные примером своих предшественников.

Резкий пронзительный ветер, леденящими тисками охвативший нас со всех сторон, заставил поезд спуститься поскорее вниз. Было уже 9 часов вечера. Тяжелые сумерки свинцовой пеленой ложились на резкие выступы скал и затеняли снег, покрывая все загадочным полумраком... И снова наш поезд тихо поплелся по узенькой, едва заметной полоске дороги, терявшейся в сумрачной, безвестной дали. Мы ничего не ели и не пили в течение целого дня.

— Чорт возьми, надо выпить! — сказал, наконец, решительным голосом один из путешественников, все время щеголявший в одном пальто и высоких смазных сапогах.

Нарты остановились, мы достали спирт, но развести его было нечем, так как у нас не было с собою ни капли воды, чистый же спирт мы пить не решались. Кончилось дело тем, что мы взяли несколько комков снега, облили их спиртом и таким образом «выпили», поздравив друг друга с благополучным перевалом. Холод все усиливался, леденил нашу теплую одежду, постепенно сковывая и усыпляя уставшее тело. Мы знали, как опасен при таких условиях сон, старались с ним бороться, но ничего не помогало, и неотразимый, чарующий, он властно

смыкал наши веки. Не знаю, долго ли я дремал, помню только, что я проснулся от сильных толчков, которыми щедро наделял меня наш сухопутный штурман.

— Григорий! Вставай! Кажется, Миша замерз...

Срываюсь с нарты и как безумный бегу к вытянувшемуся словно столб товарищу, не подающему и признаков жизни. Пусть кто может представит себе, что пережили мы в этот момент в пустыне, беспомощные, отрезанные от людей и всецело предоставленные самим себе. Долго мы будили уснувшего товарища, пока, наконец, он открыл свои глаза.

— Ах, это вы! — пробормотал он недовольным голосом. — Зачем вы разбудили меня? Мне так было хорошо, я видел такие хорошие сны... мне было совсем тепло!

Мы хорошо знали, что это значит. Взяв с него торжественное слово окликать нас через каждые пять минут, взволнованные и возбужденные этим казусом, едва не окончившимся так трагически, мы снова уселись по нартам, и олени бесшумно повлекли нас дальше. Было уже часов десять, ночь покрыла все своим черным плащом, холод и усталость отняли у нас последние силы, а станка все не было видно... И вдруг с передней нарты, на которой восседал герой сегодняшнего дня, раздалось громкое, захлебывающееся «ура!»

Наконец-то!..

Как ужаленные соскакиваем мы с нарт, мечемся по дороге, но вместо юрты натыкаемся на большую кучу валежника, покрытую снегом. Ее-то и принял наш герой за станционную юрту! Буря негодующих возгласов и протестов разразилась над его головой, он сразу потерял все наши симпатии. Тут же на месте был составлен полевой суд, который приговорил его к позорному наказанию: несчастный герой, жертва разгоряченной фантазии, попал в разряд штрафованных и был переведен на самую последнюю нарту.

Прошел еще час, и вдруг из-за редкого, едва заметного в темноте прилеска, где-то в стороне от дороги в чаще черных кустов, вырвался яркий сноп блестящих искр и рассыпался в воздухе, словно причудливый фейерверк, зажженный чьей-то забавляющеюся рукою.

— Камелек?!.. Да, камелек!..

И на этот раз громкое «ур-р-а-а!» вырвалось у всех и покатилось навстречу этому великому источнику тепла и света. Мы снова на ночевке, снова в тепле... Много ли нам тогда нужно было!

Так изо дня в день боролись мы с бесконечной дорогой, совершая переезды в 50—60 верст и лишь в исключительных случаях несколько больше. Проехали станции «Тойон-Тырях», «Хабат», «Билирь», «Майурах», «Чахчур». Теперь уже недалеко; еще две станции, и мы, наконец, в Верхоянске. Мы всю дорогу занимались подсчитыванием верст, но притти к точным результатам никак не могли. По мнению якутов, расстояния между станциями в действительности гораздо значительнее, чем показано в маршрутах, установленных властями. Так, например, официально между станциями «Чахчур» и «Майурах» — 60 верст, а якуты считают 90, между «Бала» и «Бирим-Охон» — 50, а по мнению якутов все 80, и т. д. Для местных жителей это очень невыгодно, так как за гоньбу они получают поверстно. Нужно ли прибавлять, что и мы разделяли негодование якутов. Для нас каждая верста была сопряжена с пыткой, и поэтому мы не могли спокойно относиться к неожиданным превращениям нескольких десятков верст в сотню.

ГЛАВА IV.

От Верхоянска до Средне-Колымска.

ПРОШЛО еще несколько дней, и перед нами появился сначала ярко горевший на солнце крест, затем маленькая, почерневшая от времени, деревянная церковь, и, наконец, несколько десятков жалких юрт, образующих так называемый «город» Верхоянск.

Я думаю, что карикатурнее этого города едва ли можно себе что-нибудь представить. На дне довольно узкой котловины, в топкой болотистой местности, среди тальника и редкого чахлого леса прячется эта жалкая кучка деревянных домиков. Зимою здесь стоят чудовищные морозы, достигающие 65 и даже 68 градусов по Цельсию. Здесь самая низкая температура во всем мире. Летом—непроходимая топь, мириады комаров, смрад, поднимающийся от громадных луж, около которых расположены юрты и дома, и отравляющий воздух. Сотни две-три якутов, несколько ссыльных, десятка два казаков составляют все население Верхоянска. Во главе этой столицы Верхоянского округа стоит исправник с помощником и заседателем; поп воссылает к небу молитвы за этот несчастный край с его жалкими жителями, имеющими о символе веры самое смутное представление. В свободное время этот жрец церкви занимается обиранием якутов, нисколько не уступая в этом искусстве местным купцам-кулакам. К числу местной аристократии следовало бы прибавить еще и доктора, но таковой далеко не всегда имеется в Верхоянске, и население нередко обходится без медицинской помощи.

Какою печальною славой пользуется Верхоянск среди ссыльных, можно судить хотя бы по следующему отрывку, взятому мною из статьи В. Бернштама: «Якутская область и ссылка».

«При открытых дверях 55 человек административно-ссыльных были приговорены к каторге на 12 лет (в 1904 г. по процессу *«романовцев»*, Г. Ц.). Они встретили приговор совершенно спокойно, и многие отказались подать апелляционный отзыв, несмотря на просьбы и уговоры близких.



Вид города Верхоянска.

— Почему вы не соглашаетесь подать отзыв,—спросил я одного из них.

— По личным соображениям.

— Каким?!

— Видите ли... каторга мне гораздо выгоднее административной ссылки,—уверенно отвечал он.—Я был предназначен к отправке в Верхоянск на 10 лет... В Верхоянске я не имел бы заработка, жил бы впроголодь, питаясь одной рыбой, одинокий, отрезанный от всего внешнего мира, лишенный имени! Меня поселили бы в темной юрте со льдиной вместо окна, я был бы в обществе одних и тех же двух-трех товарищей. Лишенный медицинской помощи, я задыхался бы от мороза! А в каторжной тюрьме, хотя бы александровской,—у меня будет камера, пусть с железной решоткой, но зато со стеклом в окне, меня

накормят и притом хлебом, письма будут доходить скоро, кругом будет общество товарищей, русских, а не якутов, я буду иметь свой заработок, со мною будут поступать по закону... Ну, а до «поселения», хотя бы и там, в Якутской области,—чересчур далеко... Нет, каторга лучше ссылки!

Наш приезд несколько оживил однообразную жизнь товарищей, которых мы здесь застали. Почти все они доживали свой срок и ждали с нетерпением той минуты, когда им удастся, наконец, вырваться из этой затхлой, отвратительной ямы. Настроение у них было неважное. Все средства, с помощью которых можно было поддержать в себе, хотя бы и искусственно, душевную бодрость, были исчерпаны; оставалось замереть в тусклом, однообразном бытии, терпеливо выжидая, покуда кончатся эти долгие, беспросветные сумерки прозябания в ссылке, и появится возможность снова окунуться в гущу жизни, оживить, омолодить себя в ее свежих, бушующих волнах.

Впрочем, даже по окончании срока мы нисколько не были застрахованы от так называемой «прибавки». Случалось,— и это не в одном только Верхоянске, а и в других колониях на крайнем Северо-Востоке,—что ссыльный, окончивший срок и уже начинавший собираться в обратную дорогу, получал уведомление из полиции, что срок его ссылки продлен еще на два года. Объявлялась эта милость без всякой мотивировки и применялась в свое время довольно щедро. Таким образом, никто из ссыльных в конце концов не знал, удастся ли ему, окончив наказание, уехать на родину. И эта неизвестность висела над нами подобно Дамоклову мечу, взвинчивая и без того измученные, издерганные нервы.

К чести полиции нужно сказать, что в данном случае она сплошь и рядом запаздывала с этим неприятным сюрпризом. Обыкновенно ссыльный успевал выехать до получения этой бумажки, укорачивавшей его жизнь еще на два года. Тогда ему приходилось отбывать этот новый дополнительный срок где-нибудь поближе: в Якутске, Олекминске, Киренске и даже в Иркутске. Это было все-таки большое облегчение, так как эти места значительно ближе к России, и жизнь в них протекала гораздо легче.

За все время ссылки был один только случай, когда товарищ (назовем его N) подал сам заявление, в котором просил уведомить его о прибавке, если таковая имеется, до выезда из Колымска. Это был человек совершенно замученный, боявшийся жизни и предпочитавший гнить среди болота вдали от всего живого, так как здесь он все-таки получал пособие и не должен был заботиться о завтрашнем дне. Но это было исключение, остальные же товарищи всегда старались как можно скорее убраться по добру по здорову, покуда бумага находилась еще в пути.

Жизнь наших старых верхоянских товарищей казалась подернутой какою-то мглистой плесенью. Движения их были вялы, безжизненны; крайняя нервическая усталость чувствовалась в их взорах и речах; да и когда кто-нибудь из них возбуждался, признаки нервной измученности сквозили в каждом его жесте, в каждом слове. Были среди них и такие закаленные, мужественные натуры, которые умудрялись затаить в себе все, что происходило у них в душе. Но это наружное спокойствие, граничившее с философским пренебрежением к лишениям ссылки, стоило невероятных усилий и иногда совершенно неожиданно для окружающих заканчивалось трагедией. Укажу, например, на одного из верхоянских ссыльных—Богряновского. Это был красавец, высокого роста, с открытым правильным лицом, обрамленным пышною русою бородой. Он пробыл в ссылке около 8 лет и удивительно хорошо сохранился, так что постороннему наблюдателю могло показаться, будто ссылка пощадила его, направив все свои удары на других. А между тем вскоре после моего отъезда Богряновский застрелился. Он носил в своей душе скорбную, трагическую загадку, разрешенную свинцовой пулей.

Понемногу я начинал приспособляться к особой специфической раздражительности, сквозившей в каждом слове или поступке старых ссыльных. Но я был еще молод, жизнерадостен, и мне казалось, что при известном желании можно было бы справиться с этой нервозностью, если не совсем, то по крайней мере в самых тяжелых и неприятных ее проявлениях. Время показало мне, что я глубоко заблуждался.

Не знаю, руководилась ли и продолжает ли руководиться правительственная власть в своей «карательной» политике психо-

логическим расчетом, основанным на детальном изучении сложной человеческой натуры [1]). Быть может, выбрасывая наиболее деятельных и развитых членов общества в места не столь отдаленные и просто отдаленные, «для жительства неудобные»,— термин официальный и очень верно характеризующий эти гиблые места,—правительство ставит себе более простую бесхитростную задачу: вырвать с корнем неблагонадежные элементы и баста! Но если оно действует с расчетом, стараясь не только изолировать эти элементы, но в то же время и раз навсегда обезвредить их, то нельзя не воздать должного этому адскому остроумию и знанию человеческой природы. Даже долголет-

[1]) О том, что местные власти иногда не прочь позаняться психологией ссыльных, свидетельствует очень интересный рапорт министру внутренних дел архангельского губернатора К. Баранова, относящийся к началу 30-х годов. В этом рапорте, между прочим, говорится:

«Из опыта прошлых лет и из моих личных наблюдений я пришел к заключению, что административная ссылка по политическим мотивам скорее портит, чем исправляет характер человека. Переход от достаточной жизни к нищете, от общества к полному его отсутствию, от деятельности к вынужденной праздности ведет к тем печальным последствиям, что нередко, особенно в последнее время, ссыльные сходят с ума, покушаются на самоубийства и совершают их. Это—прямо результат тех ненормальных условий, в которые ставит образованного человека ссылка. Не было еще ни одного случая, чтобы человек, основательно заподозренный в политической неблагонадежности и высланный административно, возвратился из ссылки примиренным, раскаявшимся, и стал бы верным слугою престола и полезным членом общества. С другой стороны, очень не редки случаи, когда человек, сосланный по недоразумению, по административной ошибке, именно тут, в ссылке, делается неблагонадежным, отчасти вследствие сношений с истинными врагами правительства, отчасти из личного раздражения. Если человек уже заражен противоправительственными идеями, все условия его ссыльной жизни стремятся усилить такое настроение и развить в нем более опасные стороны характера, обратить его из теоретического в практического, а, значит, и наиболее опасного врага порядка. Если же он не заражен ими, эти условия в высшей степени благоприятствуют заражению и, таким образом, во всех случаях приводят к результатам, прямо противоположным тем, которых правительство ожидало от административной ссылки. Как бы урегулирована и ограничена ни была административная ссылка, она обязательно вызывает в умах сосланных представление о бесконтрольном произволе: этого одного достаточно, чтобы помешать возвращению их на истинный путь» (Кеннан, «Сибирь и Ссылка». Изд. Вл. Распопова: стр. 41, 42).

нее тюремное заключение не способно воздействовать так разлагающе на человеческую психику, как пребывание в этой ссыльной тюрьме без стен и решоток.

Узкие пределы настоящей тюрьмы фиксируют энергию заключенного и оберегают его от слишком продолжительного и интимного пребывания с глазу на глаз с людьми, требовательность и раздражительность которых в равной степени повышены, благодаря ненормальным условиям жизни. У всякого культурного человека имеется эта непреодолимая, жгучая потребность в известные моменты остаться наедине с самим собой, замкнуться в своем собственном «я». Эта в значительной степени пассивная потребность, сравнительно легко находящая себе удовлетворение в обычной жизни, в ссылке нарушается на каждом шагу. Конечно, каждый из невольных обитателей Верхоянска или Колымска мог бы изолировать себя от остальных товарищей, т.-е., другими словами, устроить себе добровольную тюрьму и там замереть. Но в том-то и дело, что у каждого из нас была и другая, еще более сильная потребность, свойственная всем нормальным людям. Я говорю о том великом инстинкте общественности, без удовлетворения которого не могут жить даже низшие животные. Нас постоянно тянуло друг к другу, а когда мы сближались, какая-то дикая, стихийная сила врывалась в наши дружеские отношения, коверкала, комкала их; люди старались оторваться от этой вынужденной, слишком крепкой спайки, вступали с ней в ожесточенную борьбу, нередко нанося друг другу непоправимые удары, неисцелимые раны. И это был еще лучший исход, когда мнимые противники успевали разойтись, сохранив уважение друг к другу. А бывали случаи, когда два близких друга, связанные самыми светлыми, глубокими воспоминаниями из прошлого, возгорались жгучей, неудержимой враждой друг к другу и по такому поводу, который при нормальных условиях вызвал бы у них только улыбку.

Я никогда не забуду маленькой сценки, которая разыгралась на моих глазах, когда мы отдыхали после тяжелого пути в просторной, но пыльной и запущенной юрте верхоянского товарища П. Приятель его, мягкий, уступчивый человек, уже перенесший семилетнюю ссылку, ставил для приехавших гостей самовар, который почему-то проявлял на этот раз необычную

строптивость, выпускал из трубы удушливые, густые клубы дыма и упорно отказывался повиноваться своему хозяину. П. был болен, лежал на постели и оттуда упорно следил за неудачными попытками своего друга. Когда, наконец, роль постороннего, молчаливого наблюдателя ему надоела, он приподнялся на локте и проговорил, отчеканивая каждое слово:

— Вы не умеете *даже* поставить самовар!

Это маленькое «даже» прорезало воздух словно удар бича. Неудачник быстро выпрямился, густо покраснел, насколько позволял ему это землистый, испитой цвет лица, и с особенным ожесточенно-озлобленным оттенком в голосе ответил:

— Послушайте, вы ведь отлично знаете, что я умею ставить самовар. Ведь я его ставил уже сотни раз, а сегодня вот, как на зло, не удалось. К чему же это «даже»? Ведь это придирка!

И мысль протестующего, несомненно, заработала в обычном направлении, старательно, с глухою злобою подводя широкие основания для протеста под это маленькое злополучное слово. Я видел, как у лежавшего на постели товарища заблестели глаза, как вздулась толстая жила на лбу его красивого, измученного лица. Он не сказал больше ни слова, отчасти стесняясь гостей, а, быть может, и стараясь щадить их, но настроение все-таки было испорчено. В юрту ворвалась какая-то неосмысленная в своей враждебности сила, низменная и опьяняющая, захватывающая человека против его воли и одерживающая легкую победу над тем, что именно нами считается самым дорогим, самым важным в человеке,—над человечностью.

Злополучный самовар, наконец, вскипел. Весь позеленевший, с избитыми боками, с изогнутым краном, носившим следы бесчисленных и довольно неискусных починок, он удивительно гармонировал с жалкой, почти нищенской обстановкой юрты, с ее ободранными стенами, некогда заклеенными номерами «Русских Ведомостей», страницами «Юридического Вестника» и иллюстрациями из «Нивы». Видно было, что при оклейке юрты хозяин мало заботился об эстетике. Иллюстрации были разбросаны по стенам без всякой системы, а один рисунок, изображавший какую-то итальянскую красавицу, был наклеен даже вверх ногами. Сквозь небольшие окна, стекла которых состояли из маленьких осколков, склеенных узкими полосками

белой бумаги, в юрту врывались веселые, яркие лучи мартовского солнца, упираясь пыльными столбами в грязные, закопченные стены и пыльный пол; казалось, будто солнце хотело лишний раз подчеркнуть перед нами всю бедность и убогость жилища, в котором уже не один год проводил лучшее время своей жизни наш больной товарищ. Шаткий, деревянный стол без скатерти, две-три табуретки и пара толстых обрубков, заменявших стулья, большая полка, заставленная запыленными старыми книгами,—представляли собой убранство этой типичной комнаты верхоянских ссыльных.

Началось чаепитие. Пили из толстых неуклюжих чашек кирпичный чай, похожий на кофе, с молоком. Разговор не клеился. Усталость давала себя знать, а окружавшая нас обстановка совершенно ясно показывала нам, что ожидает нас в будущем, и расспрашивать об этом как-то не хотелось. Поговорили немного о новостях, привезенных нами из России. Вяло и неохотно поспорили относительно применимости некоторых пунктов нашей программы к русской действительности и отправились к другим товарищам, уже ожидавшим нас с обедом в другой юрте.

Здесь обстановка была несколько лучше. Хозяин дома был женат, и присутствие женщины в юрте сразу проявлялось в известном порядке и уюте, которые особенно резко бросались в глаза после жилища, только что оставленного нами.

Снова традиционный чай, но на этот раз с экстренным торжественным прибавлением в виде коробки печений «Эйнем». Для Верхоянска это—роскошь неслыханная, которую можно было себе позволить только в исключительном случае, каковым, между прочим, и являлся наш приезд. Контраст между этим домом и юртой третьего ссыльного, к которому мы затем отправились, был особенно велик. В этой крохотной лачуге, где жил товарищ, так неудачно воевавший с самоваром, было очень темно, сыро и неуютно. Видно было, что обитатель ее совершенно не считается с реальными условиями своего бытия, что все мысли его витают в совершенно иной области, не имеющей никакого отношения ни к Верхоянску ни к этой жалкой, словно запуганной лачуге.

Впоследствии я узнал, что этот ссыльный, жизнь которого мне казалась окончательно разбитой, вернувшись на родину, снова вступил в ряды борцов за свободу и оказал своей партии ряд очень важных услуг. Если я не ошибаюсь, он и теперь продолжает в ней работать, проявляя значительную энергию и выдержку. Я не раз имел случай убедиться, насколько в этом отношении сложна и загадочна человеческая психика, и как трудно в сущности предсказать, сможет ли ссыльный, вернувшись на родину, снова взяться за дело, или же революционное движение пройдет мимо него, не успев оживить и поставить на ноги измученного борца. Нередко случалось и до сих пор случается, что наиболее нервные и, повидимому, пострадавшие больше всех натуры, вернувшись в Россию, как-то сразу выпрямляются, сбрасывают с себя апатию, пессимизм и бодро берутся за работу, тогда как сохранившиеся, полные сил и здоровья ссыльные неожиданно для всех пускают себе пулю в лоб незадолго до окончания ссылки или же, вернувшись на родину, сразу поддаются, оказываются неспособными снова нащупать пульс жизни и отстают от нее. Я не хочу, конечно, возводить подобные случаи в общее явление, но факт все-таки остается фактом.

Мы приехали в Верхоянск в первых числах марта. Толстый, могучий слой снега начинал понемногу поддаваться под разрушительными лучами весеннего солнца, особенно в ясные дни. Надо было торопиться, так как нам предстояло еще пробыть в пути около месяца, и мы боялись, как бы нас не захватила распутица. Перспектива застрять на целый месяц в какой-нибудь поварне вдали от живых людей и без провианта совершенно нам не улыбалась. К тому же хотелось как можно скорее закончить это 10-месячное путешествие, достаточно надоевшее даже самым выносливым из нас.

Перед самым отъездом мне пришла в голову мысль остаться на лето в Верхоянске и затем отправиться в Колымск по первому зимнему пути. Попытка эта не увенчалась успехом. Местный доктор, освидетельствовавший меня в полицейском управлении, нашел, что я свободно могу отправиться дальше. Тщетно я доказывал ему, что общая усталость, как результат 8-месячного пути в самых ненормальных условиях, дает мне

право на отдых; мой эскулап, от которого, между прочим, несло водкой, словно из спиртового бочонка, упрямо стоял на своем. Я отомстил ему, потребовав тут же составления протокола, в котором было бы засвидетельствовано, что врач при исполнении своих обязанностей был совершенно пьян. Исправник, сначала лукаво подмигивавший мне за спиною доктора, теперь наотрез отказался составить протокол. Секретарь с своей стороны заявил, что доктор совершенно трезв... В общем все-таки получился изрядный скандал, и я вышел из полицейского управления с чувством некоторой удовлетворенности.



Якутская юрта.

Итак, снова в дорогу! Припасы пополнены, постели увязаны привычной рукой в маленькие, легкие вьюки... Последняя вечеринка у товарищей, и мы снова на узкой полоске дороги, одиноко вьющейся по беспредельным озерам, тундрам и чахлым, словно замученным лесам. Теперь перегоны сделались еще больше, и каждую версту приходилось брать буквально с бою. В некоторых местах олени отказывались совершенно служить, а между тем нам приходилось сплошь и рядом ехать на одной и той же упряжке по три, по четыре и даже по пяти дней. Особенно тяжело нам пришлось на переезде между станциями «Хатыгнах» и «Сылгытар». Дорога шла все время между двумя цепями гор, обступившими весь путь сплошными стенами.

Беспрерывный ветер, вырывавшийся из горных ущелий, выдул весь снег, и наши нарты медленно ползли по обнаженным камням, устилавшим весь путь. Целых пять дней мы бились на этом каторжном месте. Каждый раз наши нарты, взбираясь на камни, с грохотом срывались с них, для того, чтобы снова подняться и грохнуться вниз. Толчки были настолько сильны, что я вынужден был как можно туже затянуть свой пояс, чтобы не отбить внутренностей. Нередко узенькие, неустойчивые нарты переворачивались, и мы падали на острые обнаженные камни.

Кончались они, и мы выезжали на блестящую, лишенную снежного покрова, поверхность озер.

Помню, на одном таком озере нас захватил ураган, вырвавшийся, словно бешеный, из ближайшего ущелья. Тщетно бедные олени упирались, широко расставляя свои тонкие, хрупкие ножки; тщетно старались и мы, ухватившись за копылья нарт, противопоставить свои жалкие силы этому незримому гиганту, который подхватил наш поезд, словно перышко, и понес по зеркальной поверхности озера совсем в другую сторону. Несколько раз мы вступали в борьбу с своим беспощадным врагом, но все наши попытки кончались неудачей: какая-то невидимая сила сбивала нас в кучу и отбрасывала к берегу. Пришлось достать топоры и делать на льду насечки. Только таким образом нам удалось найти точку опоры и выйти победителями из этой оригинальной неравной борьбы. Но и это было бы еще ничего, если бы не наледи, попадавшиеся нам на каждом шагу и по своим размерам превосходившие даже те громадные разливы надледной воды, через которые мы в свое время проезжали на Лене. Здесь, вдали от населенных мест, они представляли для нас серьезную опасность: выкупаться в ледяной воде на таком морозе и ветре было все равно, что замерзнуть.

К вечеру мы обыкновенно успевали доехать до ближайшей поварни, представлявшей собою маленький сруб или юрту не выше человеческого роста. Иногда такое строеньице помещалось в лесу, и тогда мы ограничивались кратковременной остановкой у ближайшей речки, чтобы запастись водою в виде большого куска льда. Но бывало и так, что поварня стояла между скал

на безлесной площадке; тогда приходилось везти с собою дрова издалека и обращаться с ними очень экономно.

Ночевка в поварне—крайняя степень человеческого падения. Даже пресловутые этапы могут смело считаться первоклассными гостиницами в сравнении с этими логовищами. Огонь, разведенный в полуразрушенном камельке, не может отогреть тонких деревянных стен, промерзших насквозь; в огромные щели острой струей врывается резкая, колющая стужа, и спастись от нее некуда. Приходится пить чай и ужинать в меховой одежде, словно на дворе. Обтаяв брови, ресницы, бороду и усы, превратившиеся на морозе в сплошную ледяную глыбу, сбрасываешь с себя меховой капюшон, рукавицы и начинаешь наливаться горячим чаем до тех пор, покуда не почувствуешь, что живительное тепло постепенно разливается по всему телу. Затем наскоро ужинаешь, с жадностью выкуриваешь одну-другую папиросу, и снова приступаешь к чаепитию, чтобы запастись теплом на ночь.

В это время ямщики тоже утоляют голод и жажду. Для них, сынов снежной пустыни и вьюги, температура в нашей лачуге кажется совершенно нормальной. Они сбрасывают с себя верхнее меховое платье и, вооружившись острыми ножами, которые они всегда носят с собой в ножнах на поясе, принимаются за истребление чудовищных кусков мяса, сваренных в большом медном котле, уже давно позабывшем, очевидно, что такое полуда. Держа кусок мяса в руке, якут впивается в него своими белыми, крепкими зубами и рвет его на части. Если это сразу не удается, он прибегает к ножу, стараясь отрезать кусок у самого рта. Каким образом он умудряется делать это, не отрезав попутно и губ, я никак не мог понять. Единственная попытка, которую я проделал, подражая якуту, заставила меня раз навсегда отказаться от таких опасных опытов. Едят наши ямщики молча, сосредоточенно и очень долго. Едят без соли и без хлеба, истребляя невероятное количество мяса; затем наскоро хлебают суп и приступают к чаепитию, при чем со стороны кажется, будто они священнодействуют. Выпив чайник, снова доливают остатки водой и кипятят их. Так это повторяется два и три раза, покуда от чая не остается и следа.

Подкрепившись, ложимся спать. В поварне раздеваться нельзя, приходится спать в меховой одежде, накрывшись одеялами, шубами,—всем, что есть под рукой. Задыхаясь под этой грудой вещей, засыпаешь на два-три часа мертвым свинцовым сном; но стоит во сне сделать хотя бы легкое движение, и все кончено: предательский холод тонкой, колючей струйкой вползает в образовавшуюся щелку и впивается, словно иголка в тело. Проснешься, поправишь одеяло и долго еще ворочаешься, покуда благодетельный сон не заставит тебя снова забыть о всех неприятностях дорожной жизни. За ночь дыхание оседает на верхнем крае одеяла пушистым слоем инея, и одеяло над головой становится твердым, как короб. Спали на низких нарах, приделанных к стенам, разостлав пушистые оленьи шкуры; о простынях забыли, да и подушка у меня была оригинальная. Настоящую подушку у меня унесло ураганом во время одного ночного переезда. Пришлось сшить из арестантского грубого мешка нечто вроде наволоки и набить ее сеном. Под конец путешествия это сено превратилось в труху, и сама подушка была не больше моей головы.

День за днем, а мы все едем и едем, и иной раз кажется, что мы всю жизнь будем в пути, и что нет такого места, где мы могли бы, наконец, остановиться, избавиться от своих нарт, к которым мы были прикованы, словно каторжники к своим тачкам, переменить белье, сходить в баню, выспаться, как следует,—словом, почувствовать себя, наконец, людьми. Усталость растет, начинаешь ссориться с казаками и ямщиками, отлично сознавая в то же время, что такими мерами ускорить путешествие все равно не удастся. Затем это состояние острого возбуждения сменяется полным упадком энергии, доходящим буквально до прострации. И везут тебя, словно какую-то вещь, никому не нужную, ни на что не годную, но которую почему-то необходимо доставить в Колымск, потому что этого захотел кто-то там, далеко, за десяток тысяч верст.

Прошло еще две недели, и вместо оленей стали снова запрягать лошадей. Полярное солнце сделало свое дело, и крепкий искристый снег подернулся влажным матовым налетом. На озерах в некоторых местах он оттаял настолько, что под ногами лошадей стала выступать вода. Весна входила в свои права,

и даже суровые утренники не могли остановить ее победоносного шествия. Природа пробуждалась, солнечные лучи пропитывали воздух мягкою, нежною теплотою. Грудь дышала привольнее, и хотелось верить, что дальше будет лучше. Есть какая-то могучая притягательная сила в этих легких, почти неуловимых веяниях полярной весны, когда все приходит в скрытое движение, с неопредолимой силой разбивая и разрывая ледяные оковы зимы.

Уже не далеко. Еще каких-нибудь 10 дней, и мы, переваливши через последнюю гряду гор (Алазейский хребет), спускаемся, наконец, в безграничную равнину, называемую Колымским округом. Остаток пути мы делаем верхом, так как дорога окончательно испортилась.

Последняя остановка у жителей («Эчечи»), и рано утром в шесть часов мы торжественно въезжаем в Средне-Колымск, в эту большую тюрьму, раскинувшуюся далеко в беспредельной тундре, за полярным кругом.

ГЛАВА V.

Полярная тюрьма. Подготовления к побегу.

СРЕДНЕ-Колымск расположен под 67° 10′ северной широты, на левом берегу широкой, многоводной реки Колымы, при впадении в нее притока Анкудина. Этим притоком весь «город», занимающий не более двух верст в длину и полуверсты в ширину, разделяется на две части: старую, или собственно город, и новую, возникшую сравнительно недавно. Церковь, главные купеческие склады и единственная достопримечательность Средне-Колымска — старинная казачья крепостца, выстроенная казаками в первой половине XVIII века, находится в старой части города. Полицейское управление, казенные амбары с арсеналом, состоящим из нескольких екатерининских кремневых ружей, берданок, казачьих сабель и старинной, насквозь проржавевшей мортиры, новая больница и школа, помещаются в новой части, на крутом берегу. Это место, даже во время больших наводнений, остается свободным от воды, в то время как старая часть города превращается в настоящую Венецию.

По официальным данным от Средне-Колымска до С.-Петербурга 11.000 верст; в действительности же это расстояние гораздо значительнее и смело может быть исчислено в 14—15 тысяч верст. Площадь Колымского округа равняется приблизительно 500.000 кв. км. Население этого края состоит из якутов, ламутов, чукоч, тунгусов и юкагиров; в Средне-Колымске и двух небольших поселках Верхнем и Нижнем-Колымске, тоже расположенных на берегу Колымы в 500 верстах к югу (Верхне-

Колымск) и к северу (Нижне-Колымск) от Среднего, имеются и русские жители, значительно, впрочем, объякутившиеся. Общее количество населения исчисляется в 10.000 человек, из которых на долю русских приходится едва ли больше 1000 обоего пола.

Столицей этого дикого, совершенно почти незаселенного края и является Средне-Колымск.

Этот небольшой поселок, носящий громкое и совершенно незаслуженное название «города», состоит из сотни небольших деревянных домов и юрт. Двухъэтажных строений среди них



Вид г. Средне-Колымска.

нет совсем, если не считать двух амбаров, где хранится казенная мука, порох, свинец, соль, конопля и другие сокровища. Дома исправника, крупнейших купцов, здание полиции и новой больницы увенчаны тесовыми крышами; остальные жилища лишены этого украшения и издали напоминают коробки, поставленные на землю, а весь город производит впечатление незаконченного, словно кто-то строил его против воли и под конец бросил все постройки,—проживем, мол, и так!

Дома, кроме казенных и богатых купеческих, выстроены из довольно тонких бревен и срублены очень плохо, совсем не по климату; в пазах, особенно по углам, остаются значительные щели, заполняемые мхом вместо пеньки, которая стоит здесь слишком дорого, чтобы ее можно было употреблять на коно-

патку. В отличие от Верхоянска, где преобладающим типом постройки является якутская юрта, Колымск состоит преимущественно из срубленных домов, и это придает всему городу более веселый вид.

Далеко не все дома в Колымске снабжены стеклянными рамами. Такую роскошь до самого последнего времени позволяли себе лишь богатые люди, остальные же обыватели удовлетворяются окнами, затянутыми бумагой, налимьей кожей, полотном, или же изготовляют «стекла» из осколков, тщательно склеенных с помощью бумажных полос. Такие стекла напоминают в общем мозаику и после первого же дождя рассыпаются на кусочки. Наша братия употребляла для окон отмытые фотографические пластины, которыми мы поэтому очень дорожили.

Зимою вместо стеклянных, бумажных и прочих окон местные жители употребляют большие квадратные куски льда. Эти ледяные глыбы приставляются плоской стороной прямо к оконному косяку и прикрепляются к нему с помощью снега, разведенного водой и образующего жидкую кашицу, которая мгновенно замерзает на морозе. Весною с этими ледяными стеклами большая возня. Они быстро тают под лучами солнца и требуют постоянного ухода за собой. Достаточно солнцу пригреть, как следует, и в таком стекле образуются большие дыры или свищи, которые приходится все время залеплять размоченным снегом. Неудобны льдины еще и в том отношении, что они задерживают свет и быстро покрываются изнутри плотным налетом, который приходится каждое утро снимать заостренной металлической пластинкой.

Отапливаются дома в Колымске камельками, сделанными из жердей, смазанных глиной, а иногда из необожженных кирпичей. Голландские печи сравнительно редки и попадаются только в богатых домах. Любопытно, что местное население совершенно не умеет класть кирпичных камельков и печей. Этим делом здесь занимаются мастера из уголовных ссыльных и скопцов, которых сюда забросила всесильная рука российской администрации.

Для того, чтобы предохранить зимою дома от излишней потери тепла, их обмораживают снегом, смочив предварительно

стены водою; после такой операции, которая совершается над всеми домами почти одновременно, город приобретает оригинальный, нарядный вид. Особенно хорош он в ясные солнечные дни, когда снег, покрывающий улицы, дома, кусты и деревья, сверкает мириадами алмазов, а из труб поднимаются легкие розовато-пепельные султаны дыма, медленно тающие в глубокой синеве безоблачного неба.

Ссылка в Средне-Колымск начинается с 1744 года, когда в это надежное место был упрятан русский вице-канцлер граф Михаил Гаврилович Головкин, сторонник Анны Иоанновны,



Улица в Средне-Колымске.

арестованный вместе с другими вельможами при восшествии на престол Елизаветы Петровны. Несчастный граф выехал из Петербурга в сопровождении своей жены графини Екатерины Ивановны, урожденной княгини Ромодановской, 19 января 1742 года и прибыл в Средне-Колымск только через два с половиною года. Лет через 150 этот же путь можно было совершить в течение 10 месяцев, а в настоящее время его можно сделать даже за 5 месяцев.

Головкина вывезли из Петербурга совершенно больным, но, очевидно, его пребывание в Колымске считалось необходимым, и поэтому с его болезнью совершенно не считались. В дальнейшем читатель убедится, что в этом отношении политика и приемы русской администрации совершенно не изменились

до сих пор, и что вовсе не нужно быть крамольным вице-канцлером, чтобы подвергнуться печальной участи Головкина. Положение арестанта было очень тяжелое. По донесениям прапорщика Пальмштруга, под надзором которого находился опальный вице-канцлер, «здесь, в Ярманге (так назывался в то время Средне-Колымск), жителей весьма малое число, и питаются токмо одною рыбою, а иногда, по времени, бывает рыбы нелов, как и сего году, то и жители терпят голод и едят сосну. А арестантам, яко непривыклым людям, то снести невозможно. К тому же и рыбою удовольствоваться в неуловное время не можно»...

Вместе с этим донесением сенату Пальмштруг послал и ведомость, «что арестанту Головкину съ женой и их служителями в год для пропитания надобно». По этой ведомости «испрашивались» припасы: ржаная мука, крупа, соль, немного пшеничной муки, горох, семя конопляное, вино двойное, масло, мыло, солод, свечи, сахар». Ведомость эта была утверждена, но Головкин от этого ничего не выиграл, так как якутская канцелярия ничего в Средне-Колымск не доставила. Из дальнейших рапортов Пальмштруга видно, что надзор за Головкиным был учрежден очень строгий. «Правительствующему сенату,— пишет он 4 января 1747 года,—доношу: арестант Головкин с женою содержится мною под караулом в Ярманге так, как мне повелевает правительствующего сената инструкция, без всякого послабления, и никуда они, кроме церкви божией, не выпускаются и до них никто не допускан»... 10 февраля 1748 года исполнительный прапорщик запрашивает сенат, пускать ли Головкиных с их людьми на исповедь? 9 апреля он получил разрешение на это, с условием, однако, чтобы попам при входе к арестантам и при выходе от них «был чинен осмотр» во избежание проноса писем и проч. Головкин умер в 1766 году в Средне - Колымске. Вдова облила тело покойного] мужа воском и увезла его с собою в Москву.

При Елизавете же был сослан в Нижне-Колымск президент комерц-коллегии барон Менгден, прибывший сюда с женою, дочерью, свояченицею, служанкой и служителем. Сын с теткой и слуги вернулись впоследствии в Россию, но барон с женою

умерли на месте ссылки, где они пользовались некоторою свободой [1]).

Таково было начало ссылки в Колымске. Затем в ее истории происходит значительный перерыв, и лишь с середины 80-х годов Колымский край снова начинает привлекать к себе внимание правительства. Как раз в это время в России произошел окончательный разгром последних остатков «Народной Воли», и жертвы реакции, воцарившейся на развалинах этой партии, потянулись одна за другой в этот мертвый, заброшенный край. Главная масса ссыльных этого периода состояла из евреев, которых высылали сюда за ничтожнейшие «преступления» и на долгие сроки. Среди ссыльных было много молодых, совершенно еще не определившихся людей, и жизнь их в таких ненормальных условиях подвергалась жестоким испытаниям. Общее количество «государственных», проживавших в Колымском крае и, главным образом, в Средне-Колымске в период от 1886 по 1896 г., достигало приблизительно 60 человек. Я не останавливаюсь подробно на этом очень интересном периоде колымской ссылки, так как застал лишь конец его и поэтому могу судить о нем только по рассказам старых товарищей [2]). Третий и последний период колымской ссылки начинается с марта 1896 года и кончается 1905 годом.

После этих исторических справок я считаю возможным перейти к прерванному рассказу о нашей жизни в Средне-Колымске.

* * *

Проехав мимо ряда разбросанных домиков, мы попали на мост, соединявший старую и новую части города и перекинутый через приток Колымы, Анкудин. Взобрались на крутой берег и подъехали наугад к низенькому, вросшему в землю, дому. На крыше его стояла небольшая метеорологическая будка

[1]) См. статью *А. Оксенова.* «Средне-Колымск и его округ». «Исторический Вестник», июль 1885.

[2]) Рассказы *Тана, Серошевского* и *Осиповича* дают ясное представление о том, какую жалкую жизнь влачили ссыльные в Колымском крае до середины 90-х годов, когда старое поколение уступило свое место новому, о котором я говорю в следующих главах.

и флюгер. Так как этим хитрым делом здесь могли заниматься только ссыльные, то мы и решили закончить этим домом наше десятимесячное путешествие. Мы не ошиблись. В этом доме временно жили ссыльные Гуковский и Орлов, хозяин же дома Богораз был в это время в отлучке, у чукоч, где занимался собиранием этнографических материалов в качестве члена Сибиряковской экспедиции.

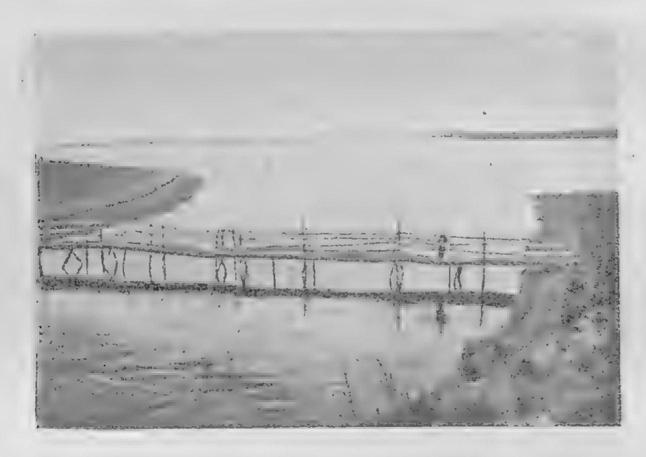
Наскоро познакомившись с новыми товарищами, с которыми мне предстояло провести не один год на пустынном берегу Колымы, я решил, прежде всего, заняться восстановлением своих сил. После поговорим, после поспорим, а теперь—отдых, только отдых! Тяжелая болезненная усталость сковала мозг и разбила все тело; силы окончательно истощились, организм требовал продолжительного покоя, и для меня было совершенно безразлично, где я и что со мной...

Я быстро разделся, лег в чистую, покрытую простыней, кровать, голова беспомощно опустилась на мягкую подушку, и я заснул крепким, живительным сном человека, выздоравливающего после тяжелой болезни. Проспав часов двенадцать, я встал, наскоро закусил и снова лег, чтобы проснуться только на следующее утро. Так постепенно восстановлялись мои силы, и когда первое утомление прошло, передо мною, как и перед другими ссыльными, сейчас же встал неизбежный, жгучий вопрос: неужели же мне действительно придется провести здесь эти десять лет, похоронить в этой могиле лучшее время своей жизни?

— Бежать!—В такой форме почти у каждого из нас проявлялся протест против вынужденного безделья в этой гиблой некультурной обстановке, «где поколения людей живут и гибнут без следа», не испытывая никакой потребности в сознательной, человеческой жизни. Едва отдохнув, едва придя в себя, каждый из нас фатально приходил к этому заманчивому выходу и обращался с одинаковым вопросом к старым товарищам: «Скажите, неужели отсюда невозможно удрать?»

Старожилы с улыбкой выслушивали этот старый, но вечно новый вопрос, который и сами они в свое время ставили своим товарищам. Они излагали перед нами все трудности побега, доказывали, что при нашей неопытности и неприспособленно-

сти он совершенно невыполним; но жажда свободы была так велика, что все доводы их казались нам преувеличенными, а отчасти и совершенно ложными. И вот среди молодых, чуть ли не с первых же дней, начались разговоры о побеге. Обсудив целый ряд планов, мы пришли к выводу, что бежать можно только Ледовитым океаном по направлению к Берингову проливу. Там мы рассчитывали встретить какое-нибудь купеческое или китоловное судно, которое согласилось бы взять нас к себе на борт и отвезти в Америку. Непосредственная наша задача



Якутский мост на р. Анкудине.

состояла в том, чтобы достать или построить лодку, на которой нам предстояло совершить это рискованное путешествие.

С первых же шагов выяснилось, что лодки местного производства, сделанные из осины и сшитые тальником, совершенно непригодны для нашей цели. Поэтому мы решили построить собственными силами настоящую килевую шлюпку с рулем, мачтой и даже небольшой каютой. Теперь я не могу вспомнить без улыбки о наших постройках, в которые мы вложили столько энергии и страсти, не имея никакого представления о судостроительном деле. Наш главный архитектор, выдававший себя за знатока, понимал в этом деле—как выяснилось впоследствии—ровно столько же, сколько и все мы, простые смертные; но потребность вырваться на свободу была так велика, что мы невольно

закрывали глаза на его неопытность и были твердо уверены в успешном исходе нашего предприятия. Не теряя драгоценного времени, мы приступили к подготовительным работам. С самого же начала обнаружилось, что постройка лодки требует значительных средств, которыми мы не располагали. Тогда началось беспощадное урезывание своего и без того скудного бюджета: питались кое-как, отказывая себе решительно во всем; каждая копейка шла на дело, все более и более захватывавшее нас и ставшее вскоре единственною целью нашей жизни. Первая зима была затрачена на постройку составных шпангоутов и заготовку досок. В то же время изучались карты, составлялся словарик необходимых чукотских слов и фраз, так как мы рассчитывали встретиться в пути с чукчами, рассеянными по побережью Ледовитого океана. Все наши помыслы были обращены, все разговоры вращались вокруг одной и той же точки, и если в конце концов наши надежды оказались беспощадно разбитыми, то все-таки первое, самое тяжелое время приспособления к ссылке прошло для нас сравнительно легко и безболезненно благодаря этой иллюзии, которая принималась нами за неоспоримую реальность.

Быстро пролетела бесконечная полярная зима, и как только наступили сравнительно теплые дни, мы с лихорадочной поспешностью приступили к постройке первой лодки, которая должна была отвезти нас на обетованную страну свободы.

На высоких козлах было укреплено толстое, длинное бревно, на котором были установлены шпангоуты или ребра, сильно напоминавшие по своей форме древне-греческую лиру. Уже тогда сразу выяснилось, что эта лодка будет слишком велика и неповоротлива; но переделывать ее было уже поздно, и мы энергично принялись за обшивку, доставившую нам немало горя. Твердые, хрупкие, лиственничные доски плохо гнулись и лопались на каждом шагу. Бывало,—повозишься несколько часов над пригонкой, затем с замиранием сердца начнешь приколачивать доску, и вдруг... резкий, короткий треск, сопровождаемый яростным проклятием нашего главного плотника и мастера на все руки Гуковского. День отравлен, поломка доски обсуждается, как важное мировое событие, как тяжелое национальное бедствие.

Постройка такой большой лодки была слишком важным, бросающимся в глаза, событием, чтобы местные власти могли обойти ее своим вниманием. Однако, наш исправник не подавал и виду, вполне основательно рассчитывая, что все равно на такой шаланде мы никуда не убежим. Дальнейшие судьбы нашего сооружения показали, что исправник был совершенно прав, но мы, конечно, придерживались иного мнения.

Каждый вечер, закончив работу, мы собирались у кого-нибудь в юрте и предавались сладостным мечтаниям всегда на одну и ту же тему. Мы воспользуемся первым сильным, попутным ветром, когда казаки не смогут, боясь непогоды, пуститься за нами в погоню, и, распустив громадный парус, покинем этот ужасный, мертвый край. Через несколько дней мы будем у самого устья, а там ничто уже не сможет нас удержать. К тому же на море постоянно дуют береговые ветры, наши естественные союзники, а если и будет иной раз затишье, то что мешает нам итти один-другой день на веслах. Чукоч мы как-нибудь обманем, да они и так не посмеют нас тронуть, а в обмен на чай и табак мы сможем достать у них сколько угодно оленьего мяса, и, стало быть, от голода будем застрахованы. Самое главное—обойти Большую реку, а потом Чаунскую губу. Если нам удастся уйти от преследования, то в дальнейшем наше дело сделано; мы легко можем в этих местах встретить какое-нибудь американское китоловное судно или торговую шхуну, которая, конечно, возьмет нас к себе на борт. А затем высадка где-нибудь в Калифорнии... и снова свобода! Было отчего закружиться голове...

Лишь к августу мы закончили постройку этого оригинального судна, напоминавшего собой «поповку», ванну,—все, что угодно, но только не лодку, о которой мы мечтали. В довершение всего в нем оказалась такая масса щелей, что при первом же спуске, в котором принимало участие чуть ли не пол-города, наш фрегат торжественно пошел ко дну. В конце концов, после долгих усилий удалось привести его в порядок и снарядить в путешествие. На первый раз мы хотели ограничиться только пробой, совершив небольшой рейс между Колымском и заимкой «Быстрое», расположенной ниже города, в 150 верстах, на берегу реки Колымы.

Это было траги-комическое путешествие, воочию доказавшее всю нашу неспособность, а также негодность нашего судна не только для плавания по Ледовитому океану, но даже и для путешествия по реке. До «Быстрого» нас благополучно доставило течение, но здесь мы умудрились заехать в какую-то «протоку», откуда не было выхода. Случайно нас увидели казаки с ближайшей заимки и пришли на помощь. Лодка была снята с мели, на которую мы попали благодаря туману, и выведена на фарватер. Все эти злоключения отняли у нас много времени, а между тем осень подходила к концу, и пора было ехать обратно. Захватив с собою пудов сорок рыбы, мы выждали попутного ветра и храбро выехали на середину реки, распустив громадный парус. Но, увы, лодка упорно отказывалась итти по предначертанному нами пути. Она бессильно моталась между берегами, неожиданно садилась на мель, ложилась на бок, и иногда при полном попутном ветре, когда по всем правилам морской науки ей следовало быстро мчаться вперед, разрезая носом бушующие волны, она почему-то проявляла непреодолимое желание плыть назад по течению. Так было во время попутного ветра. Когда же наступало затишье, нам прихолось тащить эту махину бечевой. Тот, кто видел картину Репина «Бурлаки», может себе живо представить, что приходилось нам вынести на обратном пути. Нас было трое на этом «Левиафане», в трюме которого можно было свободно поместить до 10 человек. Капитан судна, он же и архитектор, был дряхлый старик и участвовать в этой работе не мог. Таким образом, два человека должны были протащить на себе этот броненосец на протяжении 150 верст. Сделав десяток верст в течение суток, мы приставали к берегу и располагались на ночевку. На пустынном берегу, прекрасном своей первобытной нетронутой дикостью, мы разводили гигантские костры, издали похожие на пылающие здания, пили чай, жарили рыбу и подолгу сидели, любуясь чудной панорамой реки, тихо заснувшей в величавом спокойствии. Иногда к костру подбегал любопытный горностай в пестрой рыжеватой шубке [1]). Внимательно

[1]) Белыми горностаи делаются лишь к зиме, приблизительно в сентябре, и только тогда на них ставят ловушки: летняя шкурка горностая рыжевато-пестрого цвета и не имеет никакой цены. Зверек этот удиви-

оглядев нас своими острыми глазками и нисколько не смущаясь присутствием людей, он схватывал остатки брошенной нами рыбы и уносил их куда-то в кусты. Довольно близко подходили к нам и белки. Усевшись на ветке лиственницы, они подолгу смотрели на нас, на костер, и вдруг, встревоженные нашими движениями, мгновенно исчезали.

Проходила ночь, и на рассвете мы снова впрягались в свою флямку, влача за собою продукт нашего творчества, словно французские каторжники—ядро, прикрепленное к ноге. Я думаю, что мы так и не добрались бы до города, если бы судьба не послала



Вид реки Колымы.

нам, подобно щедринским генералам, мужика во образе хитрого якута, сделавшего из наших злоключений своеобразный источник дохода. Садилось ли наше судно на мель, заезжало ли оно в курью, напоминавшую собою подводную ловушку, и во многих других безвыходных положениях этот хитрец неизменно появлялся на своей крохотной душегубке и предлагал нам свои услуги. Другого выхода не было. Якут деятельно помогал нам

тельно грациозен и отличается беззавстной отвагой в случаях самозащиты. Я наблюдал однажды любопытную сценку недалеко от своего дома. Четыре собаки аттаковали горностая, успевшего наполовину спрятаться между бревен. Осажденный и не думал сдаваться. Отчаянно фыркая и извиваясь словно уж, он успел искусать до крови лапы и морды рассвирепевших псов и принудил их, в конце концов, к отступлению.

выпутаться из беды и за это получал значительную мзду в виде кирпичного чая, табака, денег и пр. Впрочем, у нас было много оснований предполагать, что наш добрый гений исполнял в то же время и другую, более важную, «государственную» миссию. Повидимому, ему было поручено нашими властями следить за тем, чтобы мы, чего доброго, и в самом деле не вздумали пуститься в океан на своем фрегате. Если это было действительно так, то нельзя не воздать должное осмотрительности нашего исправника. Вздумай мы привести в исполнение свой план, ему, должно быть, пришлось бы очень скоро известить свое начальство о трагической смерти трех смельчаков, решивших пуститься в плаванье по Ледовитому океану в большой, правда, но все-таки только в ванне.

После невероятных усилий нам удалось, наконец, доставить свое детище на стоянку. С наступлением зимы его сковало льдом, а весною следующего года лодку пришлось разобрать на дрова, так как во время ледохода от нее все равно не осталось бы и следа.

Было бы большой ошибкой думать, что этот печальный опыт хотя бы в ничтожной степени отразился на нашем настроении или укротил нашу энергию. Ничуть не бывало! Дух свободы властно царил над нашими умами и попрежнему окутывал нас густой пеленой иллюзий, фантазий и розовых надежд. Следующая зима снова прошла в бесконечных обсуждениях новых проектов, в основу которых был положен опыт последнего лета, а как раз к этому времени наша компания увеличилась новыми членами, которыми мысль о побеге сразу овладела так же, как и нами. После долгих и страстных прений решено было приступить к постройке новой, небольшой и подвижной лодки, с которой легко могли бы справиться четверо гребцов. Но и на этот раз наш архитектор сыграл с нами злую шутку. Под предлогом конспирации он окружил свою юрту строгим запретом и тщательно скрывал от публики размеры подготовляемых частей. Когда весною мы приступили к постройке второй лодки, она по размерам оказалась вдвое больше старой. Ужас овладел нами, но было уже поздно, и с проклятием в душе мы снова приступили к работе. Опять было потеряно лето, но зато мы имели громадное двухмачтовое судно с трюмом и палубой, для управления кото-

рым необходима была команда по крайней мере в 10 человек. На этом судне, получившем от одного из ссыльных ядовитое название «Срам» в отличие от нансеновского «Фрама», мы совершили путешествие в Нижне-Колымск, который расположен в 500 верстах от Средне- Колымска, недалеко от устья Колымы. На этот раз мы ехали уже в сопровождении казака. Впрочем, эта предосторожность со стороны местной администрации была совершенно излишня; мы и сами понимали, что дело наше проиграно, и отправились в плаванье только для очистки совести. В Средне-Колымске наш «Срам» был разобран, и наступила ликвидация всего предприятия.

Вторая неудача подорвала нашу энергию. Мы совершенно разочаровались в нашем строителе, проявившем диктаторские наклонности; возникли разногласия, которые до сих пор затушевывались и смягчались общими надеждами на удачный исход. Траги-комическая эпопея подходила к концу, а экскурсии по морю, которые мы делали для разведок, показали нам, что предостережения старых ссыльных были далеко не безосновательны. Нас охватила какая-то тяжелая нервная усталость; разбитые иллюзии были погребены, и теперь нам предстояла новая тяжелая задача: справиться с бесконечным сроком ссылки, сохранив душу живу. Началось строительство жизни.

ГЛАВА VI.

Библиотека и почта.



СНОВНОЙ вопрос, стоявший теперь перед нами, сводился, прежде всего, к устройству материальной обстановки. Жилых домов было мало, а каждому из нас присуща была вполне естественная потребность зажить своим домом, устроиться сообразно со своими индивидуальными наклонностями. Строить свои собственные дома у нас не было ни охоты, ни возможности. С одной стороны, наши транс-атлантические авантюры разорили нас в конец, а с другой—каждый из нас таил в душе последнюю надежду, правда, очень шаткую, но все-таки не умиравшую, что, быть может, реакция в России скоро кончится и наступят лучшие дни, когда мы получим возможность вернуться в родную среду. Пришлось искать квартиры, что при местных условиях было делом далеко не легким. В конце концов лишь немногим, и преимущественно семейным, удалось устроиться сносно; а остальные долго еще жили совместно и вели свое хозяйство на артельных началах. Постепенно такая жизнь надоела нам до такой степени, что мы предпочитали жить в какой угодно лачуге, только бы не вместе, не на людях.

Со мной лично приключился однажды незначительный, но весьма характерный для ссылки случай, благодаря которому я твердо и непреклонно решил поселиться в отдельном доме, чего бы мне это ни стоило. После окончания навигационной эпопеи я поселился вместе с одним товарищем-поляком, с кото-

рым мы быстро сошлись. Это был интеллигентный серьезный, человек, игравший в свое время видную роль в организации Польской Социалистической Партии. Жить с ним было очень легко, так как чуткость и предупредительность были главными отличительными свойствами его характера. Мы вместе рубили и кололи дрова, таскали с реки воду в ушате, поочереди топили печь и камелек, готовили неприхотливые обеды. Все шло, как нельзя лучше, но в то же время я чувствовал, что присутствие даже такого спокойного и предупредительного сожителя в известные моменты меня сильно стесняет. Я долго боролся с этим



Юрта ссыльного в Ср.-Колымске.

неприятным чувством, но оно, очевидно, было сильнее меня и прорвалось однажды самым неожиданным образом.

Помню, была довольно холодная зимняя ночь, когда мы, кое-как поужинав остатками рыбы и запив их чаем без сахара, легли спать. Приятель мой, страдавший ревматизмом, расположился на единственной в нашем доме кровати, а я улегся на полу на пушистой, теплой оленьей шкуре. Около меня у изголовья горела свеча, которую я забыл потушить, после того как окончил чтение.

— Зачем вы не потушили свечку?—спросил меня спокойным голосом мой сожитель.

И едва он произнес эту фразу, я сразу почувствовал, как тяжелая, горячая волна крови поднялась в голову и сдавила

мне горло. Меня задело слово «зачем». В сущности этот вопрос был совершенно уместен, но мне показалась неуместной его формулировка.—«Ведь он отлично понимает, что я просто забыл потушить свечу! К чему же это предположение, будто я сделал это с определенной целью?»—пронеслось у меня в голове, и я чувствовал, что самообладание покидает меня. И вот, чтобы не дать прорваться пароксизму бешенства, внезапно охватившему меня, я быстро запихиваю в рот конец одеяла, стискиваю его изо всех сил зубами и остаюсь в таком нелепом положении до тех пор, покуда не чувствую, что волна раздражения начинает быстро спадать и сменяется полнейшим равнодушием не только к этому злополучному вопросу, но и к приятелю, который задал его, ко всему Колымску, ко всей жизни,—решительно ко всему. Быстро гашу свечку, закутываюсь в одеяло и засыпаю мертвым кошмарным сном.

На следующее утро я рассказал об этом моему приятелю. Он грустно покачал головой и затем проговорил спокойным, сочувственным голосом: «А знаете, нам нужно разойтись». Через несколько дней мы поселились на различных квартирах, сохранив самые лучшие приятельские отношения до конца ссылки.

С течением времени нам удалось почти всем расселиться по отдельным домам и, таким образом, решить самую острую сторону вопроса. Но затем все-таки оставалась скученность в пределах одного и того же городка, который за пятнадцать-двадцать минут можно было исходить вдоль и поперек. Мы встречались десятки раз на протяжении дня, и даже обычные при встречах рукопожатия сделались совершенно излишними и просто несносными.

По вечерам, особенно в глухую зимнюю пору, дома усидеть было трудно; на такой подвиг были способны только самые заядлые книгоеды, которых в Колымске было немного. Эти способны были просиживать целые дни за книгой; но я, например, никак не мог примириться с таким способом убивать время, хотя меня нельзя было отнести к разряду людей, пренебрегавших наукой.

Неудивительно поэтому, что ежедневно с наступлением вечера наступала и «тяга» в гости, направлявшаяся преимущественно в сторону семейных, которые даже в Колымске уму-

дрялись устроиться как-то уютно; таким образом, создавался салон, куда сходилась холостая публика без предварительного уговора, просто потому, что у всех существовала одна и та же потребность, для удовлетворения которой был один только исход. Пили чай, обсуждали различные дела колониальной жизни, играли в шахматы, иногда пели хором. Изредка, в экстренных случаях мы устраивали вечеринки. Должно быть, постоянное пребывание вместе и отсутствие свежих посторонних лиц сильно мешало нашим вечеринкам и делало их в достаточной степени скучными, слишком обыденными: все те же лица,



Библиотека и метеорологическая станция.

те же разговоры, те же песни, все одно и то же. Теоретические разговоры, или—по-русски—«споры», занимавшие сначала почетное место на наших собраниях, постепенно отошли на задний план. Постоянно встречаясь друг с другом, мы очень скоро приспособились ко взглядам каждого из нас; а так как новые сведения черпались нами из одних и тех же источников, то в в конце концов не трудно даже было предсказать, как выскажется тот или иной товарищ по данному вопросу и на какие факты он станет ссылаться, чтобы защищать свой взгляд.

Впрочем, это охлаждение к теоретическим вопросам можно объяснить еще и нашей оторванностью от жизни. Профессиональное движение, например, или задачи политической борьбы интересовали всех нас, но разве можно было жить этими вопро-

сами, вкладывать душу в их изучение, когда все это проходило мимо нас где-то там далеко, за тридевять земель. Конечно, мы все-таки интересовались главными вопросами общественной жизни в России и на Западе, но этот интерес то поднимался, то ослабевал в зависимости от прихода почты или приезда новых товарищей.

Главным умственным центром нашей колонии была библиотека, состоявшая к концу ссылки из трех тысяч томов слишком. Основа этой библиотеки была заложена еще старыми ссыльными, которые установили добрый обычай оставлять все книги товарищам,продолжавшим отбывать свой срок. Наиболее полно были представлены отделы по философии, психологии, естествознанию, отчасти по статистике и истории. Новая ссылка занялась усердным пополнением преимущественно двух последних отделов. Особенно много книг было приобретено нами по рабочему и социальному вопросу. Пожалуй, можно признать это явление далеко не случайным: мировоззрение старых ссыльных больше было направлено в сторону общих социологических построений, тогда как наше поколение интересовалось преимущественно четвертым сословием и его движением.

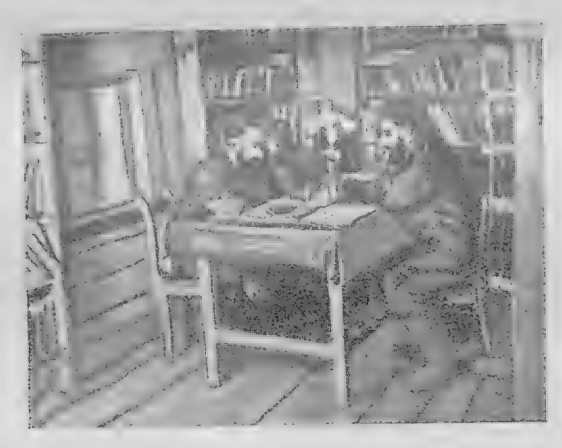
Гораздо хуже была представлена у нас беллетристика. Казалось бы, что в наших краях, где жизнь была так однообразна и бедна впечатлениями, беллетристике следовало бы отвести наиболее почетное место, а между тем, мы привозили с собой главным образом научные книги, и редко кто догадывался захватить с собою хоть несколько томов Тургенева, Толстого, Щедрина и пр.

Я никогда не забуду того восторга, который овладел мною, когда мы, наконец, получили полное собрание сочинений Чехова. Дни и ночи просиживал я над ними, с жадностью поглощая один томик за другим. Даже экономия, которую я строго применял по отношению к керосину, была забыта, и далеко за полночь горела моя маленькая лампа, освещая книгу великого художника и бытописателя той среды, которая своей пассивностью и равнодушием превратила всю российскую жизнь в мертвое болото.

Впоследствии мы стали довольно энергично пополнять этот пробел и постепенно приобрели почти всех классиков,

но свежего притока изящной литературы все-таки не было. Следует отметить, что наша библиотека была единственной во всем городе и что местные жители изредка брали у нас книги легкого содержания, причем сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Горького пользовались наибольшей популярностью среди местных парней и девушек.

Иностранный отдел библиотеки состоял преимущественно из классиков на различных языках; но знание последних было сравнительно мало распространено в нашей среде (в этом отношении мы далеко отстали от старых ссыльных), и потому этот



Внутренность библиотеки.

отдел в течение последних десяти лет оставался почти без изменений. Исключение составляла лишь литература на польском языке, пополнявшаяся довольно аккуратно.

Библиотека помещалась в отдельном доме, состоявшем из двух, по колымскому масштабу, довольно больших комнат. Этот дом был куплен покойным товарищем, бывшим шлиссельбуржцем Яновичем и предназначен им исключительно для библиотеки. В одной комнате были устроены полки, занимавшие все стены и стоявшие даже по середине ее, в другой помещался библиотекарь, избиравшийся на основах всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Первым библиотекарем был избран, конечно, Янович, который быстро и энергично принялся за работу и вскоре привел библиотеку в надлежащий

вид. Был заведен каталог, устроена библиотечная касса, довольно аккуратно пополнявшаяся специальными взносами. Не удовлетворяясь книгами и журналами, которые нам присылали друзья и родные, мы регулярно выписывали все, что нам казалось в данный момент необходимым, и, таким образом, постепенно увеличивали свою библиотеку, которая, в сущности не уступала по своим размерам и составу библиотекам многих провинциальных городов России. Важный вопрос о выписке новых газет, книг и журналов решался большинством голосов на общем библиотечном собрании. Выписывали довольно аккуратно «Русское Богатство», «Мир Божий», «Научное Обозрение», получали «Новое Слово», «Начало», «Жизнь» и другие журналы. Из газет выписывали преимущественно «Русские Ведомости» и «Восточное Обозрение», кроме того получали газеты на польском языке, так как в нашей среде было много поляков, которых родные и товарищи снабжали книгами и газетами довольно исправно в течение всех десяти лет.

Нелегальные издания доходили к нам чрезвычайно редко, а между тем именно они интересовали нас больше всего. Цензура, свирепствовавшая в то время в России, совершенно скрывала от нас все, что делалось в подполье, откуда мы были исторгнуты грубой рукой жандарма. С помощью газет и журналов мы коекак следили за тем, что делается на поверхности житейского моря; но то, что происходило в его глубине, в тех сферах, где производилась упорно и настойчиво великая работа воспитания и революционизирования масс,—все это было скрыто от нас, задернуто густою пеленою двойной цензуры. Все наши письма и посылки до самого последнего времени просматривались в якутском областном управлении, и, таким образом, всякая посылка с нелегальными брошюрами и газетами рисковала всегда провалиться. Неудивительно поэтому, что по возвращении в в Россию, многое для нас оказывалось совершенно новым и непонятным, и мы чувствовали себя значительно отставшими от нового поколения. Впрочем, много значит в данном случае и та оторванность, которая окружала нас в течение долголетней ссылки. Когда мы уехалии из России, среди работавших революционных групп царило, в общем, довольно полное согласие по программным и теоретическим вопросам, и лишь впоследствии

появились новые течения, раздиравшие и до сих пор раздирающие социалистически настроенную массу на различные лагери и толки. Широкое увлечение «экономизмом», появление «меньшевиков» и «большевиков», образование партии социалистов-революционеров,—все это прошло для нас почти бесследно, и узнавали мы об этих важных явлениях в истории русского социалистического движения лишь случайно и преимущественно из вторых рук. Главным источником, откуда мы могли черпать эти сведения, были номера польского журнала «Przedswit» и газеты «Robotnik», которыми колония снабжалась довольно аккуратно. Пришлось учиться по-польски. Многие из нас довольно быстро освоились с этим языком, читали польскую «нелегальщину», газеты, журналы и беллетристику.

Наша библиотека расположена была в центре города, и поэтому публика, проходя мимо, не могла удержаться от искушения зайти посмотреть, что в ней делается, поболтать с библиотекарем, а иногда переменить книгу или навести какую-нибудь справку на месте. Здесь же организовалось нечто вроде почтового бюро. Библиотекарь собирал и заделывал книги, которые отправлялись в Верхний и Нижний Колымск товарищам для прочтения; сюда же сносились письма и посылки, отправлявшиеся в Верхоянск, Якутск и Россию.

Уже из всего предыдущего читатель мог догадаться, что мы совершенно были лишены тех развлечений, которые при нормальных условиях считаются необходимыми и без которых культурные люди обходиться не могут. Но так как вообще без развлечений человек все-таки жить не может, и так как в сущности это понятие является совершенно относительным, то и мы естественным образом пришли к такому состоянию, при котором общий уровень наших потребностей понизился, а некоторые из них удовлетворялись так редко, что самый процесс их удовлетворения приобрел особый характер, приближающий его к так называемому удовольствию или развлечению.

Так было, например, с почтой. Даже для российского обывателя получение письма или газеты является таким же простым и естественным явлением, как обед или сон. Для нас же приход почты являлся целым событием. Уже задолго до появления ее наша публика совершенно отбивалась от дела и слонялась без

толку из дома в дом с вечным вопросом: «Ну, как вы думаете, скоро придет или нет?» Завязывался спор. Аргументы за и против приводились в неисчислимом количестве, и так как достаточно реальных данных для решения этого важного вопроса все-таки не было, то все наши прения обыкновенно кончались заключением пари... А в это время большие, черные почтовые баулы длинной вереницей ползли по бесконечной дороге, и случалось, что проходило два, три и даже четыре месяца, прежде чем почта, отправленная из Якутска, попадала в наши края. Таким образом, выходило, что мы жили как будто на другой планете. В России уже давным давно забывали о событиях, в свое время волновавших общество и заполнявших страницы газет и журналов, а мы все еще не имели никакого представления о том, что случилось там за это время. И когда на билбиотечном столе появлялись груды «свежих» газет, когда наши пальцы лихорадочно срывали с них бандероли и торопливо разворачивали эти священные листы, нам казалось, что мы держим в руках самые последние новости, и что жизнь бьет ключом где-то близко около нас. Набрасывались обыкновенно на последние номера (все-таки ближе), а потом начинали с самого начала, прочитывая газету от доски до доски. Читали газеты все члены колонии, и поэтому приходилось устанавливать строгую очередь, нарушение которой вызывало громкие протесты со стороны пострадавших. Газеты и журналы передавались из рук в руки и, совершив кругосветное путешествие, снова попадали к библиотекарю. Это было время всеобщего оживления и подъема. Новости с того света обсуждались на все лады, строились всевозможные догадки, разгорались страсти... Но проходил день, другой, и снова наступала тишина, снова безвестность задергивала густой пеленой все, что жило далеко от нас, за десятки тысяч верст. Тогда мы принимались за чтение толстых журналов и книг, жизнь входила в обычную колею, и публика терпеливо ждала прихода следующей почты.

С лихорадочной жадностью набрасывались мы на газеты, но то чувство, с которым мы разрывали конверты полученных писем, просто не поддается описанию. «Живы или умерли?.. На воле или в тюрьме?..» Целый ряд тревожных, мучительных вопросов, догадок, сомнений проносится с быстротою молнии в разгоряченном мозгу, прежде чем непослушные, дрожащие

пальцы успеют разорвать этот ненужный, мешающий конверт. Не трогайте тогда читающего письмо, не предлагайте ему вопросов,—он весь, целиком, всей измученной душой ушел в эти дорогие строчки! Для него в этот момент нет ни товарищей ни Колымска; какая-то тонкая, невидимая нить протянулась между ним и тем, кто писал их, и тесно связала с его далекой незримой страной. А затем взволнованным голосом счастливец начинает читать вслух отрывки драгоценных писем, то убивающих энергию и внушающих ужас бесстрастным описанием какой-нибудь



Почта идет.

трагической истории, то вызывающих общий бурный восторг, если письмо содержит в себе радостную весть.

В течение первых нескольких лет мы получали почту в полиции, куда отправлялись in corpore, принимая деятельнейшее участие в разборке корреспонденции, сортировке газет и посылок. Письма разбирались,—точнее, расхватывались,—тут же на месте и прочитывались среди всеобщей сумятицы и беспорядка. При этом многие номера газет, а иногда и письма пропадали. В конце концов, по предложению исправника, мы ввели новые порядки. Колония выбирала особого почтового делегата, который и служил передаточной инстанцией между полицейским управлением, куда приходила почта, и библиотекой, где к этому времени собиралась колония в полном составе. Покуда делегат священнодействовал, отбирая письма, газеты, книги и посылки,

в «политическом» клубе разыгрывались сцены, которые свежего человека со стороны могли бы навести на довольно печальную мысль: не попал ли он в сумасшедший дом? Пусть читатель представит себе хоровод из нескольких взрослых бородатых мужчин, кружащийся с неистовым криком и свистом под аккомпанимент грохочущих сковород, тарелок, чайников и стук десятка ног, выбивающих беспрерывную дробь об пол. Задыхаясь от духоты, с красными от возбуждения лицами, пляшущие стараются выбросить как можно выше свои ноги, обутые в неуклюжие оленьи торбаса, придающие танцующим вид разыгравшихся молодых слонов. Так ознаменовывали наиболее экспансивные члены нашей колонии это радостное событие в колониальной жизни своеобразным, очень похожим на пляску дикарей, «почтовым маршем»...

Для того, чтобы понять эту радость, читатель должен знать, что в общем мы получали почту не более десяти раз в год. До 1903 года она пересылалась через як. областное управление и доставлялась в высшей степени небрежно. Случались неоднократные пропажи, преимущественно посылок, и ничего с этим злом мы поделать не могли. В этом году вся кореспонденция была передана в руки почтового ведомства, и Колымск обогатился почтовой конторой с жалким чахоточным начальником из бывших почтальонов. Несчастный не знал, куда девать время, и превращал поэтому каждый приход почты в какое-то торжественное священнодействие. Напустив на себя величественную строгость, он тщательно рассматривал каждый конверт, каждую печать, перекладывал письма, бандероли и посылки с места на место, а когда нужно было положить штемпель, рука его долго висела в воздухе и лишь затем с убийственной медлительностью опускалась на письмо. Сначала публика терпеливо выжидала конца этого священнодействия, но затем нетерпение ее прорывалось в довольно резких понуканиях.

— Позвольте, господа, позвольте!.. Вы забываете, что это государственное учреждение-с... Малейшая ошибка, и кто отвечает?. Я!—произносил он с плохо скрываемой гордостью, тыкая себя костлявым пальцем в чахоточную грудь.

Осторожность этого почтового маниака дошла, в конце концов, до того, что однажды он запер входную дверь на замок

и отказался впускать публику до тех пор, покуда почта не будет окончательно разобрана. Присутствие посторонних, очевидно, мешало ему справлять свой почтовый праздник, нарушало торжественную тишину мистерии. Но такое посягательство на священные права обывателей вызвало бурю негодования даже среди местного населения, обыкновенно отличавшегося удивительным спокойствием и невозмутимостью. Что касается ссыльных, то о них и говорить не приходится. Убедившись, что переговоры с почтмейстером ни к чему не приводят, они устроили форменное восстание. Отряд инсургентов, состоявший сначала из двух ссыльных, а затем получивший подкрепление, атаковал почтовое отделение и устроил грандиозный скандал, после которого у бедного чиновника пропала всякая охота устраивать взаперти почтовые таинства. Дело ограничилось протоколом, а народные права были восстановлены во всей полноте.

Да вообще и дисциплина, заведенная этим чиновником, совершенно не гармонировала с патриархальными колымскими нравами и быстро исчезла. Покуда за столом происходила выдача писем и пакетов, напоминавшая по своей торжественности раздачу дипломов на каком-нибудь университетском акте, за спиной почтмейстера происходила настоящая почтовая вакханалия. Полицейские чины, два-три купца, делегат от ссыльных и его помощник, как хищники, набрасывались на груды газет, книг и посылок, сваленных в одну кучу на полу, и с жадностью выхватывали из нее добычу. Изредка в этой куче попадались простые письма в плотных конвертах с заграничной маркой. Эти пакеты исчезали в карманах нашего делегата с быстротой молнии, так как по одному виду и весу можно было сразу догадаться, что их содержимое отнюдь не может быть одобрено начальством. И только один раз за все время в руки полиции попалась большая разбитая посылка с всевозможной нелегальщиной, посланная на имя одного из местных купцов для передачи ссыльному N. Нас в это время на почте не было, а смущенное начальство, вдоволь налюбовавшись возмутительными карикатурами на представителей власти, перед которой оно дрожало, как осиновый лист, составило экстренный совет для выяснения важного и весьма щекотливого

вопроса: как поступить с этим пакетом?—Отдать его нам, конечно, нельзя было, так как, прежде всего, каждый из присутствовавших наверно донес бы на исправника, если бы он это сделал. Но, с другой стороны, нельзя было и не отдать, так как конфискация такой важной священной посылки могла вызвать со стороны политиков целое восстание, а начальство нисколько не заблуждалось насчет нашей общей готовности отстаивать свои права. Как нам передавали, импровизированный тайный совет долго мучился над разрешением этого проклятого вопроса. Наконец, командир произнес маленькую речь, которая сразу успокоила взволнованных представителей власти:

— Как знаете, господа, а я ничего не видел!

— И я тоже ничего не видел,—произнес почтмейстер.

Ничего, конечно, не видел и купец, на имя которого пришла эта посылка. Исправник сделал вид, будто все это произошло в его отсутствии, а через час злополучная посылка была уже в наших руках.

К сожалению, такие сюрпризы попадали в наши края очень редко. Правда, получение их сопровождалось, как я уже говорил выше, значительными трудностями, а возможность «провала» нелегальных изданий при исследовании посылок в якутском областном управлении удерживала некоторых товарищей с воли от искушения поделиться с нами новинками подпольной литературы; они ведь имели все основания опасаться, как бы за такую сравнительно невинную вещь нам не прибавили еще по два года по окончании срока. Но, как мне кажется, дело было не только в этом. Ведь получали же товарищи-поляки свою нелегальную литературу и получали часто, несмотря на всевозможные полицейские препятствия. Дело объясняется в значительной степени и тем, что о нас, выбывших из строя, как-то скоро забывали. Упрекать за это товарищей, конечно, трудно. У них было слишком много работы, чтобы заниматься такими сравнительно неважными вещами, как отправка нелегальных газет и брошюр куда-то за тридевять земель, не зная даже, попадут ли они по адресу. Впрочем, нужно все-таки признаться, что до известной степени российская халатность и неуменье долго помнить о своих выбывших из строя товарищах довольно ясно проявлялись в этом положении вещей.

Исчез человек из кружка или организации, и все кончено. Он превращается в какой-то никому ненужный отброс, который треплется по тюрьмам и различным не столь отдаленным и просто отдаленным местам; о нем вспоминают еще в течение первых двух-трех лет, а затем жизнь неумолимо увлекает уцелевших вперед и вытесняет из их памяти все, о чем они еще помнили так недавно. Письма получаются все реже и реже, и в конце концов злополучный обитатель полярных стран оказывается совершенно отрезанным от всего мира.



Почта пришла!

Зимою почта приходила сравнительно аккуратно. Каждый месяц длинный обоз, с черными, похожими на гробы, почтовыми баулами, привозил запасы «новых» известий о событиях, имевших место два-три месяца тому назад, и, такім образом, искусственная пустота нашей жизни до известной степени заполнялась. Конечно, это был жалкий паллиатив, и я не помню, чтобы когда-нибудь мы оставались довольны почтой. Всегда ожидания были чрезмерны, и сколько нам ни присылали писем и газет, для нас все равно этого было мало. Гораздо хуже дело обстояло летом, когда сообщение между Колымском и Якутском почти прекращалось. Это было для нас самое тяжелое время: несчастная почта шла в течение трех, а иногда и четырех месяцев, мокла на дожде, в горных ручьях и стоячей тундренной воде («бадаранах») и лишь после целого ряда невероятных испы-

таний попадала в Колымск. Все было разбито, испорчено, подмочено и живо говорило о том, что приходилось почтовым баулам перенести в дороге [1]). Но покуда почта попадала к нам даже в таком виде, сколько бесконечных моральных пыток приходилось нам перенести в томительном ожидании!

Было бы ошибкой думать, что в почте мы искали только писем, газет и книг. Посылкам мы тоже отводили очень много внимания. Впрочем, мы не столько интересовались их содержимым, сколько видели в них известного рода символ, который показывал нам, что о нас еще не забыли и что там, далеко, чьи-то заботливые, любящие руки старательно уложили все эти мелочи домашнего обихода, обшили их клеенкой и полотном и отнесли на почту. Первая посылка, которую я получил через несколько месяцев после прибытия в Средне-Колымск, представляла собою невообразимый хаос. Табак, кайенский перец, зубной порошок, крупа «Геркулес»,—все это смешалось в невозможную смесь, перед которой спасовала вся наша изобретательность. В конце концов, мы вынуждены были курить этот табак, и когда острый дым загоревшегося перца обжигал наши легкие, мы пользовались случаем и посылали тысячу проклятий по адресу тех, кто отправил нас в эти края.

Зимою посылки приходили в более исправном виде. Но и тут дело не обходилось без курьезов. Попросишь, например, родных

---

[1]) Такой исход для летней почты все-таки считался благополучным. Бывали случаи, когда почта, вышедшая из Якутска, совершенно исчезала в каком-нибудь горном потоке. В письме одного ссыльного я нашел несколько лаконических строк, посвященных такому трагическому событию, глубоко взволновавшему нашу колонию:

«14 августа (1901). Только что прибыл нарочный с очень интересными новостями. In primis—майская почта, вышедшая из Якутска, утонула в Тукулане. Вместе с нею утонул и несчастный ямщик; казак еле спасся. Вот не везет нашему брату, так не везет! С этой почтой мы ждали «Жизни» и «Мира Божьего», выписанных на наши кровные денежки из пособия. Вот уже целый год, как мы сидим почти без одного журнала. (Я не считаю «Научного Образования» и «Народного Хозяйства», которые, впрочем, тоже перестали нами получаться.) И вдруг такой пассаж! Каждый из нас вполне уверен, что именно с этою почтой мы и должны были получить самые нужные письма, посылки, etc. etc. Это понятно: ведь это первая пароходная почта...».

прислать трубочку для курения табака. Кажется,—вещь простая, и за какой-нибудь полтинник просьба могла бы быть легко удовлетворена. Проходит год, о своей просьбе забываешь уже давным давно, и вдруг неожиданно приходит посылка с целым арсеналом трубок каких-то чудовищных, нелепых размеров и ни на что негодных, но стоящих в общей сложности не менее десяти рублей. В другой раз извлекаешь из посылки две пары белья и целый склад пуговиц, ниток, иголок, которых на долгое время хватило бы для всего Колымска.

Особенно допекали родные одного моего товарища походными аптечками. Тщетно несчастный упрашивал избавить его от этих аптекарских принадлежностей, одна аптека за другой неизменно появлялись на божий свет из его посылок. Наконец, его просьбы были удовлетворены, и однажды он получил письмо с извещением, что ему выслали большую посылку с бельем и платьем. Но и тут какая-то неведомая, злая сила сыграла над ним скверную шутку: в Якутске посылки были нечаянно перепутаны, и несчастная жертва медицины получила вместо долгожданного белья, отправленного по ошибке в Вилюйск, громадную походную аптеку. Нужно было видеть, с какою яростью потрясал кулаками наш бедный невольный аптекарь. Делать, однако, было нечего, пришлось примириться с несчастьем и снова ждать.

Но если родные и сразу внимали вашей просьбе и присылали вам платье и белье, то и тут дело не обходилось без недоразумений. Почему-то в воображении наших родных и друзей мы неизменно выростали в гигантов; сообразно с этим платье и белье присылалось не по мерке, и болталось на счастливых обладателях, словно на вешалке. В письмах по этому поводу попадались такие комментарии: «Если, мой дорогой, платье окажется немного не по мерке, то отдай его портному—он перешьет»... К сожалению, мы никогда не могли воспользоваться такими советами по той простой причине, что в Колымске никогда со дня его основания не было ни одного портного. Бывали и такие случаи. Стоскуется, например, какой-нибудь южанин по маслинам и пишет своим: «Пришлите, пожалуйста, мне хоть фунт. Я их не видел уже несколько лет». И вот месяцев через десять, а иногда и через год, получается письмо с приложением

рубля, а в письме дается благой и несомненно идущий от сердца совет: «Так как пересылка фунта маслин все равно будет стоить рубль, а в пути они могут легко испортиться, то мы и решили послать тебе деньги, а ты купи сам в лавке». Добрым людям, очевидно, и в голову не приходило, что в Колымске таких деликатесов не водится. Особенно досаждали мне посылки, отправлявшиеся непосредственно из магазина. Уложенные очень аккуратно и практично, они в то же время не носили следов индивидуальности отправлявшего, не отражали в себе его любви и заботливости, отличались каким-то чуждым, официальным характером и, таким образом, утрачивали в значительной степени свою прелесть. Казалось бы, что это вовсе неважно, а между тем в Колымске мы поневоле становились сентиментальными и во всем искали тех неуловимых намеков, которые хотя бы в слабой и отдаленной степени, но все-таки несколько сближали нас с тем, что было так далеко и что понемногу начинало тускнеть в нашей памяти. Вот почему мы так дорожили маленькими сувенирами, сделанными рукой посылавшего, и в то же время совершенно равнодушно относились к громадным и часто дорогим посылкам, не прошедшим через руки родных и друзей.

Почтовый день закончен... Письма и последние номера газет прочитаны, важнейшие новости обсуждены, и счастливые, утомленные новыми впечатлениями колымчане, захватив с собою все полученное с того света, отправляются по домам. Через час-другой они, конечно, снова встретятся в «салоне» у кого-нибудь из семейных... А затем пройдут два-три дня, волненье и страсти улягутся, и снова перед нами возникнет старый и вечно новый вопрос: когда же, наконец, придет новая почта? [1])

[1]) Помещаю здесь выдержку из письма одного ссыльного к своим друзьям, прекрасно характеризующую наше настроение незадолго до прихода почты. «Теперь 10 часов вечера. На дворе темная полярная ночь. За столом сидят Янович и Палинский, пьют чай и мирно беседуют, а я строчу это письмо и сам не знаю, откуда берутся слова. Вчера какой-то идиот из обывателей распространил слух, будто почта в 30-верстах от города! Можете себе представить, как взволновалась наша публика. Я весь день ходил с взвинченными нервами и не знал, что с собою делать. Сегодня

Так жили мы от почты до почты, на протяжении десятка лет, приурочивая свою жизнь к этому великому событию и все время считая себя чужими в этом несчастном, обиженном судьбою краю, среди жалкого, редкого населения, с которым мы не могли сойтись и которое отвечало нам тем же.

мы узнали, что все это выдумки, и я зол, как дьявол. Уже один этот факт показывает, чего стоит наша жизнь в Колымске. Все у нас вертится вокруг почты, вокруг пачки газет. Каждый отлично знает, что скажут по тому или иному вопросу все другие; не хочется спорить, обсуждать, говорить, ибо все в сущности сводится к повторению давно известных, привычных аргументов.—Эх, и надоедает же это бессмысленное прозябание, этот постоянный танец около пылающего камелька с его чайниками, котелками и прочей кухонной дрянью!»...

ГЛАВА VII.

Паузки.

Мой приезд в Средне-Колымск совпал с очень важным экономическим переворотом, коснувшимся снабжения Колымского края различными товарами. Приблизительно до середины девяностых годов вся мука, соль, конопля, употребляющаяся для изготовления неводов, конский волос, из которого местные жители делают сети, порох, дробь и другие товары доставлялись из Якутска на лошадях и оленях. Все эти блага (за исключением муки и крупы) предназначались как для местного служилого населения, так и для инородцев. Местные казаки, чиновники и попы, а также медицинский персонал получали от казны кроме жалованья еще и «пайки», т.-е. определенное количество ржаной муки и крупы. Это были единственные счастливцы во всем крае, обеспеченные таким важным предметом потребления. Правда, исправник имел право отпускать из казенных магазинов муку и остальному местному населению, но фактически ему никогда не приходилось этого делать, так как по казенной расценке пуд ржаной муки стоил 14 рублей слишком.

Ссыльные муки тоже не получали, и поэтому им приходилось прибегать к покупке ее из вторых рук. Обыкновенно, за несколько месяцев до выдачи муки казакам мы скупали у них муку под расписку, а затем по этим документам получали казачьи пайки. Только таким путем мы обеспечивали себе

некоторый запас хлеба, в котором наши власти самым упорным образом нам отказывали. Хлеб был плохой, никогда не выпекался как следует, но все-таки это был хлеб, за который—между прочим—мы платили по пяти и шести рублей, и лишь в исключительных случаях по четыре за пуд. Если теперь принять во внимание, что всего-то мы получали от казны 18 руб. пособия в месяц, то читатель поймет, как в сущности мы были стеснены в материальном отношении, и почему колония почти никогда не выходила из состояния хронического недоедания. А между тем и другие цены стояли не менее высоко. Так, например, цена на сахар колебалась в пределах от 50 копеек до рубля за фунт, мыло стоило 60 и 80 копеек, свечи 80 копеек и т. д. Правда, за квартиры мы платили не дороже трех рублей в месяц, а некоторые предметы потребления стоили здесь гораздо дешевле, чем в России: за мясо, например, мы платили в среднем три рубля за пуд, за рыбу от 80 коп. до полутора рубля; но эта дешевизна все-таки не могла покрыть перерасхода по покупке привозных продуктов, и мы всегда находились на краю банкротства.

Для того, чтобы кое-как свести концы с концами, нам необходимо было иметь не менее 40 рублей в месяц, а между тем мы располагали только 18 рублями, при чем семейные получали лишь одним рублем больше. Казалось бы, что если для одного человека администрация считала вполне достаточным 18-рублевое пособие, то для двух нужно было бы это пособие удвоить; но у нашего начальства арифметика была совершенно особенная, и когда оно помножало 18 на два, то в результате неизменно получалось не 36, а 19. Дети в расчет совершенно не принимались, а между тем они хотели есть, эти малыши, и нам не приходило в голову отучить их от этой скверной привычки.

Все это было бы с полбеды, если бы мы могли найти себе какой-нибудь заработок. Но и в этом отношении мы были поставлены в самые невыгодные условия. Нам, например, было запрещено заниматься педагогической деятельностью, так как мы находились на положении поднадзорных. Таким образом, этот несчастный край был защищен от агитации и пропаганды преступных идей, и колымским ребятишкам не угрожала опасность быть

зараженными зловредным учением социализма [1]). К тому же в Средне-Колымске была церковно-приходская школа, где дети приобретали некоторое знакомство с азбукой и научались считать по пальцам. По мнению начальства, для Колымска этого было вполне достаточно.

Ремеслами занимались лишь немногие из нас,—преимущественно рабочие. Починяли и лудили посуду, делали столы, стулья, этажерки, занимались производством кирпичей; но все это приносило ничтожный доход, так как громадное большинство местных жителей предпочитало обходиться собственными силами, и к нашим мастерам обращались сравнительно редко. Единственный серьезный заработок, который мы имели в течение трех-четырех лет, давал нам сплав казенного груза в Нижне-Колымск на паузках.

Я уже упомянул выше, что в 1896 г. Колымский край пережил глубокий экономический переворот в области транспорта. Дело в том, что в это время отправка казенных товаров из Якутска в Колымск была отменена и направлена по новому, гораздо более удобному и дешевому пути. Грузы принимались на пароход во Владивостоке и доставлялись к осени в маленькое селенье «Ола», расположенное на берегу Охотского моря. С наступлением зимы груз отправлялся на оленях к верховьям реки Колымы, где местные инородцы—юкагиры строили особого типа судна (паузки) для сплава товаров по первой воде в Средне-Колымск.

Местные купцы воспользовались этим обстоятельством и тоже заменили неудобную доставку товаров сухим путем перевозкой их через Олу. Результаты этой революции в транспортном деле обнаружились сразу. Старые ненормально-высокие цены сразу упали. В городе появились большие лавки, в которых

---

[1]) В начале 1904 года наш исправник добился отмены этого запрещения, но якутский губернатор в особом циркуляре предписал местным властям зорко следить за выполнением следующих ограничений: 1) ссыльные могут давать уроки детям не старше 13 лет; 2) приемы педагогической деятельности ссыльных должны быть подвергнуты тщательному контролю со стороны властей; 3) давать уроки разрешается только тем из государственных ссыльных, которые заслужили облегчение своей участи вполне хорошим поведением; 4) относительно каждого урока исправник должен входить с ходатайством в канцелярию губернатора.

можно было найти недурной подбор товаров. Жить стало немного легче.

В течение первых двух лет мы освещали свои квартиры сальными свечами или, что еще хуже, рыбьим жиром. Делалось это очень просто: в блюдце или крышку от жестяной коробочки наливалось немного рыбьего жиру, сюда же опускалась светильня из бумажных ниток, и лампа была готова. Горела она слабым тусклым пламенем, чадила, при чем постоянно приходилось следить за фитилем и оправлять его. Это была очень скучная и грязная история, с которой все-таки приходилось мириться.



Паузок.

Глаза разбаливались после часу-другого занятий, а в комнате было мрачно, темно и неуютно. Читать газету и вообще мелкую печать при таких условиях было для меня настоящей пыткой. А между тем, как раз в первый год я набрасывался на газеты с особенной жадностью и просматривал за день по 15 и даже 20 номеров. С прибытием паузков дело сразу изменилось. У нас появился керосин и довольно приличные лампы, рыбьему жиру была дана отставка, в комнате и на душе сразу повеселело.

Или возьмем, например, такую простую вещь, как чаепитие. До паузков даже и эта невинная вещь не была нам доступна во всей полноте. То в городе совершенно нет сахара, то он появляется, но продается по рублю за фунт. При своем жалком

бюджете мы не могли тратить таких безумных денег и были вынуждены пить чай без сахара. Впрочем, к такому героическому выходу мы приходили лишь после долгой борьбы. Так, например, однажды во время острого сахарного голода мы узнали, что у одного из местных купцов имеется в складе несколько небольших головок сахара, облитых оливковым маслом. Сейчас же был отправлен делегат для переговоров, и весь этот сахар был закуплен нами по 35 копеек за фунт. Я не скажу, чтобы чаепития этого злополучного времени вызывали у меня особенно приятные воспоминания; но все-таки это был чай с сахаром. Паузки избавили нас и от подобных испытаний. Мы получили возможность покупать сахар по 50 , в редких случаях по 60 коп. за фунт, и с тех пор острый вопрос о «сахарном голоде» исчез совершенно.

Конечно, в течение всей ссылки мы пили чай в «прикуску», но ведь так его пьет почти вся Россия до сих пор, и поэтому жаловаться на такое сравнительно маленькое неудобство нам не приходилось.

Таким образом, благодаря этой глубокой перемене в способах доставки товаров, наша колония оказалась в гораздо более благоприятных условиях, чем старые ссыльные, которые в свое время действительно были лишены самых необходимых вещей. Порядки, описанные в свое время Дионео и Таном, если не совсем исчезли, то в значительной степени изменились к лучшему. Как ни трудно нам было справляться с хроническим дефицитом в нашем бюджете, мы все-таки могли кое-как удовлетворять самые важные потребности, тогда как старые ссыльные были поставлены в этом отношении в условия абсолютно невозможные.

Однако, пособия нам далеко не хватало, и все наши помыслы были обращены на подыскание хотя бы какого-нибудь заработка. Таким образом, экономическая необеспеченность натолкнула нас на одно оригинальное предприятие, выполнение которого доставляло нам возможность заработать рублей по 60—70 за лето, и в то же время вносило в нашу унылую жизнь не мало разнообразия.

Дело в том, что часть казенного груза, доставлявшегося на паузках в Средне-Колымск, немедленно сплавлялась дальше

в Нижне-Колымск, где тоже имелись казаки, чиновники и попы. Сначала этим сплавом занимались казаки и поселенцы из уголовных. Однажды, не помню уж кому из нас, пришла в голову блестящая идея взять на себя сплав паузка, образовав для этого артель из 5—6 человек. Эта счастливая мысль была встречена сначала общим недоверием, но есть было нужно, и, в конце концов, мы поневоле должны были отнестись к ней более снисходительно. Смущала нас, главным образом, наша непривычка к упорному физическому труду и вообще неподготовленность и непрактичность в таких делах. И, действительно, состав предполагавшейся артели не мог не вызвать улыбки. В первом сплаве принимали участие: измученный, полубольной шлиссельбуржец Янович, помощник присяжного поверенного Строжецкий, студент лесного института Борейша, затем автор этих воспоминаний, и, наконец, механик Палинский и учитель Егоров; последние два члена артели были, впрочем, действительно годны для такого предприятия, так как обладали достаточной физической силой и выносливостью. Долго мы колебались, взвешивая шансы за и против, и, наконец решились. Наш выборный выступил торжественно на торгах, внеся в виде залога перечень всех наших домов, амбаров, погребов и прочих построек,— гарантия, способная вызвать только улыбку. К нашему удивлению, начальство согласилось признать этот залог, а своих конкурентов мы побили, понизив провозную плату. Теперь паузок оказался в наших руках, и нам предстояла нелегкая задача доказать, что мы сможем справиться с этим трудным делом...

Начались сборы. Напекли в дорогу хлеба, приготовили сухарей, запаслись хорошими «сарами» (род непромокаемой обуви из сыромятной конской кожи), наладили лодку для обратного путешествия и в одно прекрасное утро перебрались на паузок. Прилагаемый рисунок (стр. 101) дает довольно точное представление об этом тяжелом, неуклюжем сооружении, напоминающем по своей форме утюг. Это судно сколочено из толстых, широких плах громадными деревянными гвоздями. Над довольно низкими бортами его устроен род дома с тесовой крышей. Здесь помещалась казенная кладь: кули с мукой и солью, конопля, волос, свинец, порох, а также различные купеческие товары, которые мы сплавляли попутно, вместе с казенным гру-

зом. В общем грузу набиралось 1.000 пудов с лишним, и поэтому паузок сидел довольно глубоко. Передняя, носовая часть паузка не была защищена крышей. Здесь, в небольших прорезах бортов, были установлены два громадных весла, сделанные из длиннейших толстых бревен. Три человека стояли на каждом весле, но и у них хватало силы минут на 10—15 гребли. Третье весло, заменявшее руль, находилось на крыше паузка; оно было еще тяжелее и длиннее первых двух, и нужно было располагать значительной силой и навыком для того, чтобы как следует управляться с ним.

В самой передней части носа, в углу, был устроен очаг, на котором постоянно поддерживался огонь; здесь помещалась наша кухня. Готовили обеды и варили чай поочередно, и дежурный всегда играл роль козла отпущения, покуда не передавал своих обязанностей другому. Тяжелая работа и прекрасный воздух располагали публику к поглощению невероятного количества пищи и чая; над огнем на крючках, сделанных из дерева, почти всегда висели котлы и громадный чайник. Питались довольно однообразно: варили уху, так как мяса в это время не только в пути, но и в самом Колымске достать было нельзя; иногда готовили рисовую кашу с маслом. Но этого публике было, конечно, мало, и недостающее восполнялось обильными запасами копченой рыбы («юкалы») и ржаными сухарями, которые артельный староста отпускал желающим в безграничном количестве. Члены артели, отличавшиеся чрезмерным аппетитом, назывались «жрецами». Они составляли постоянную оппозицию старосте и повару, пуская в ход всевозможные аргументы и убеждая всех, что они умирают с голоду.

Когда паузок был совершенно готов к отплытию, в нашей артели царило довольно подавленное настроение. Мы совершенно не умели обращаться с якорем, весла оказались страшно тяжелыми и не хотели нам повиноваться. После нескольких первых взмахов мы выбились окончательно из сил, и всех нас охватило тревожное сомнение: «А что, если предсказания наших скептиков действительно сбудутся, и мы с первых же шагов посадим паузок на мель, или, что еще хуже, разобьем его о прибрежные скалы?». Лично мы рисковали сравнительно немногим. Ведь все наши постройки, являвшиеся в данном случае залогом,

в общем не стоили и ломаного гроша. Но в наших руках находились товары, без которых население Нижне-Колымска оказалось бы в самом плачевном состоянии, и поэтому ответственность наша была особенно велика. Где-нибудь на Волге дело можно было бы легко поправить, здесь же такая катастрофа могла принести неисчислимые и непоправимые бедствия, одна мысль о которых приводила нас в ужас. Не мало волнений пережили мы в первые дни. Но «вино было откупорено, приходилось его пить»; а виновник наших опасений, лениво поворачиваясь то кормой, то носом по течению, медленно плыл по середине реки, увлекая нас все дальше и дальше от города.



Обед на паузке.

Впоследствии мы так хорошо изучили фарватер, что даже не нуждались в проводниках; но в первый раз мы усиленно пользовались предоставленным нам правом и брали проводников от заимки до заимки. Это была тяжелая общественная повинность, лежавшая на обывателях и исполнявшаяся ими безвозмездно. Местные жители считали ее тяжелой, так как она отрывала рабочих от неводьбы, и поэтому мы сразу же поставили себе за правило вознаграждать своих лоцманов. Они получали от нас табак и чай и покидали паузок, вполне довольные своим путешествием.

С первых же дней мы почувствовали, что работа на паузке требует значительной дисциплины и организованности. Экипаж

был подчинен определенному распорядку, правила которого выработались сами собой. Через каждые два часа, поочереди, на крышу паузка отправлялся вахтенный, который должен был зорко следить за тем, чтобы наше судно не подходило слишком близко в берегу или к мели. В таких случаях вахтенный, было ли это днем или ночью, стучал в потолок и громким криком «на весла!» вызывал команду на работу. Заспанные, полуодетые, мы мгновенно срывались со своих постелей, устроенных внутри паузка на кулях с мукой, бросались к веслам и, заняв определенные места, начинали грести изо всех сил, стараясь ввести паузок в фарватер. Убедившись в том, что опасность миновала, мы снова отправлялись спать. Обыкновенно мы не успевали еще заснуть, как вахтенный снова поднимал крик, и т. д. без конца.

Случалось, что таким образом мы проводили двое и трое суток подряд; тогда команда начинала роптать и выражать вслух искренние пожелания самого еретического свойства.

— А недурно было бы, господа, если бы теперь да ветерок,— проговорит какой-нибудь наиболее уставший матрос, со вздохом посматривая на красный платок, привязанный к тонкой, длинной жерди и заменявший собою флюгер. Такие пожелания вначале вызывали протесты, достаточно энергичные, хотя и в значительной степени формальные. Всем хотелось отдохнуть, но бросать якорь в тихую погоду считалось на паузке предосудительным, и таких послаблений мы никогда себе не позволяли.

Река застыла, как зеркало, отчетливо отражая в своих водах зеленые берега, громадные скалы, подножьем ушедшие в воду, нежное голубое небо с маленькими пушистыми облаками. Красный флаг беспомощно повис и не проявляет никаких признаков жизни. На паузке душно и жарко, команда бессильно распростерлась на постелях и не знает, куда деваться от тяжелого сна, который сковывает уставшие члены, но которому нельзя поддаваться, так как вахтенный может ежеминутно вызвать всех на работу. Мириады комаров жалят нас со всех сторон, и для того, чтобы хоть немного защититься от этого беспощадного врага, приходится надевать на лицо густую сетку, а на руки замшевые перчатки. Внутри паузка на железном листе дымится дымокур. Трудно сказать, кому он доставляет больше неприят-

ностей—команде или этим маленьким мучителям-кровопийцам, которые тучами с жалобным пением носятся над нами и, выбрав удобный момент, наносят измученному телу ряд довольно ощутительных уколов. Все истомлены, разговоры и шутки умолкли, а мольбы о ниспослании ветра все чаще и чаще возносятся к небу.

Но вот река подернулась легкой рябью, и свежий едва уловимый ветерок ворвался сквозь двери и щели в наше помещение. Зной спадает, команда оживляется, хотя мы все отлично понимаем, что ветер задержит наш паузок, будет ежеминутно прибивать его в берегу и заставит нас работать изо всех сил. Лени-



На веслах.

вые и малодушные торжествуют; ни для кого не тайна, что раз ветер начался, он непременно усилится и не даст нам ходу. Но мы все-таки без бою не сдаемся и вступаем в единоборство с надвигающимся врагом. Весла мощно взрывают поверхность реки, гребцы надрываются, стараясь осилить друг друга, и паузок довольно быстро отходит от берега на середину реки... Короткая передышка, команда закуривает трубки и папиросы, а затем снова на весла до тех пор, покуда ветер не сломит нашего упорства. Тогда начинается совещание. Наиболее энергичные и стойкие матросы доказывают, что ветер вовсе не так силен, и что плыть поэтому еще можно; они тоже утомлены, но интересы дела для них выше всего, и потому они с нескрываемым неудовольствием относятся к протестам оппортунистов, которых

усталость и сон совершенно одолели и которые приводят всевозможные аргументы, лишь бы доказать, что паузок дальше итти не может и что без якоря на этот раз не обойтись. Страстные прения ежеминутно прерываются криком вахтенного, приглашающего команду оставить споры и стать на весла... А легкая зыбь, между тем, превратилась в бушующие волны. Паузок начинает качать и все чаще и чаще прибивать к берегу. Мохнатые серые тучи обволакивают небо, ветер усиливается, и в душе зарождается потребность противопоставить ему всю свою энергию.

— Нелюдимо наше мо-о-ре...—запевает высоким тенором один из матросов. Хор гребцов подхватывает мотив и бросает его навстречу ветру. Все сильнее и сильнее под звуки нестройной песни рвут наши весла пенящуюся волну, и паузок дрожит, послушно поддаваясь упорным движениям шестерых ожесточившихся гребцов. Но вот последние силы исчерпаны, а ветер все крепнет и крепнет. Тогда сверху раздается окрик рулевого: «господа, надо бросить якорь!». Желанный миг, желанный призыв, которому теперь не сопротивляются уже и самые упрямые члены команды. Оппортунисты, даже не ожидая возобновления прений, быстро подбегают к якорю, торжественно поднимают его над бортом и бросают в пучину воды. Паузок натягивает канат и, задрожав, останавливается. Теперь наступает блаженный отдых, лица у всех оживляются, начинается шутливая, веселая пикировка. Дежурный хлопочет около очага, подвешивая на крючьях котлы с рыбой и чайники; публика с жадностью набрасывается на обед, а затем отправляется спать. Через несколько минут все погружаются в мертвый сон, позабыв об атаке бушующих волн и резкого, пронзительного ветра. Спят долго—часов 12, затем подымаются сонные и одуревшие, съедают наскоро обед и ложатся снова.

А потом ветер постепенно спадает, опять собирается совет, при чем и отдохнувшие оппортунисты на этот раз проявляют полную готовность сняться с якоря и плыть дальше. Паузок снова выводится на фарватер и медленно плывет по течению, слегка покачиваясь на волнах еще не успокоившейся реки.

Когда мы проходили мимо «заимок», навстречу нам выплывали лодки с рыбаками, жаждавшими узнать от нас новости, достать

немного табака или чая в обмен на свежую и копченую рыбу. Мы угощали гостей чаем, сообщали им все, что могло их интересовать, покупали у них провиант, а затем их легкие лодочки отчаливали от паузка и уплывали обратно.

На всем протяжении реки Колымы, преимущественно по левому берегу, разбросаны эти маленькие рыбацкие поселения («заимки»), ютящиеся около тоней. Зимою они обыкновенно пустуют. Весною, как только пройдет первая вода, сюда перекочевывают городские жители, занимающиеся рыбным промыслом. Неводят маленькими неводами, захватывая лишь ту рыбу, которая плывет около берега. Промысел начинается с забрасывания сетей в затонах у «камней». Течение, огибая выступы этих скал, обходит небольшое пространство, находящееся за ними, и даже заворачивает в этих местах обратно. Такое спокойное место называется «уловом». В этих уловах отдыхает крупная рыба (нельма и чир), идущая с моря в верховья реки метать икру. Местные рыболовы пользуются этим обстоятельством и весною ставят здесь сети. Неводной промысел начинается позже, когда вода спадает настолько, что тони выступают наружу.



Встречный ветер.

Так как рыба является главным предметом потребления местных жителей, то от лета зависит, будут ли они обеспечены едой на зиму. Поэтому рыбаки не смущаются расстоянием и буквально ходят за рыбой. Стоит им узнать, что на другой заимке рыба ловится лучше, чем у них, они немедленно нагружают свои лодки-«кочевники» домашним скарбом: постелями, посудой для засолки рыбы, забирают собак и отправляются на более счастливую заимку. Позднею осенью рыбаки возвращаются

обратно в город и зимние месяцы проводят почти в абсолютной и безусловно вынужденной праздности.

С середины пути, верстах в 200—250 от города, такие заимки попадаются все реже и реже. Паузок плывет между пустынных берегов, медленно проходящих перед нами своеобразно красивой панорамой и исчезающих в туманной дымке. Около скал течение сразу усиливается, и паузок быстро мчится мимо голых каменных стен, круто поднимающихся из воды. Таинственной жутью веет от этих гигантских груд, в беспорядке нагроможденных одна на другую... Самая красивая из них гигантская скала «Киселях», вершина которой очень напоминает сидящего человека. Мертвая тишина нарушается резкими, пронзительными криками сокола, отдающимися в ущельях и разбегающимися по необъятной поверхности Колымы. Хищник свил себе гнездо на самой вершине и оттуда предпринимает свои разбойничьи набеги на несчастных куропаток, уток и других пернатых обитателей тальничных порослей и озер. Успокоился один, и тревога подхватывается другим разбойником, беспокойно реющим над скалой, словно наш паузок, действительно, задался целью атаковать его гнездо. Скалы постепенно исчезают, и красивая пестрая окраска их, то ярко-желтая, то мрачная и испещренная красными и белыми пятнами, задергивается синеватой пеленой. Резкие очертания и изломы, напоминающие бойницы средневековых замков, сливаются в одну линию, скала постепенно уходит в воду, а затем превращается в маленькую черточку, отделенную от поверхности воды блестящей серебристой нитью.

Широко расставив весла, словно чудовищная птица с узкими растопыренными крыльями, тихо проходит паузок мимо песчаных отмелей, на которых основались сотни чаек, старых и молодых. Незнакомое, страшное чудовище нарушает их мирный семейный покой. Тревожные крики несутся со всех сторон, и одна за другой беспокойно и суетливо кружатся чайки над паузком, стараясь отвлечь его от детенышей, оставленных на отмели. Мы лежим на крыше, или—как мы выражаемся—на палубе, и любуемся красивым легким полетом встревоженных птиц, сверкающих на солнце своим белоснежным оперением и рассекающих воздух резкими, сильными взмахами своих,

словно надломленных крыльев. Проплыли отмель, чайки исчезли вдали, и снова вокруг паузка воцаряется безмолвная тишина.

— Кто по дрова!—кричит дежурный.

Любители отвязывают идущую на буксире лодочку и переправляются на берег. Здесь повсюду валяется лес, прибитый водой во время половодья. Через несколько минут лодка нагружена топливом, но публике не хочется ехать обратно; она предпочитает бродить по берегу, собирая цветы и дикий лук. А пау-



Отдых на палубе.

зок плывет, и издалека кажется, будто на поверхности воды кто-то поставил маленький, сверкающий на солнце домик.

В жаркие дни, когда солнце допекало не только нас, но даже и комаров, терявших всю силу и заползавших в щели, мы купались; приятно было бросаться с бортов паузка в свежую воду Колымы и сильными движениями рассекать ее поверхность. Местные жители, как это ни странно, плавать не умеют и боятся глубокой воды. Когда я в первый раз вздумал выкупаться, проводник якут с нескрываемым любопытством следил за тем, как я раздевался. Он, конечно, догадывался, что я собираюсь мыться; но ему и в голову не приходило, что я стану на борт паузка и оттуда брошусь в воду на такой значительной глубине. Прошло несколько мгновений, а я все еще не показывался на поверхности воды, и когда, наконец, я вынырнул, ока-

залось, что проводник с перепуганным лицом опускал в воду длинный шест, стараясь нащупать им отмель. Он никак не мог примириться с той мыслью, что человек может, не рискуя жизнью, броситься в воду на такой глубине, и думал, что я просто хотел пошутить над ним, зная, что в этом месте очень мелко. В другой раз мне пришлось как-то купаться в холодной горной речушке, впадающей в Колыму у самого устья, около заимки «Сухарное». Я плавал, нырял, а присутствовавший при этом молодой парень, обрусевший юкагир, никак не мог притти в себя от изумления, и потом рассказывал заимочникам: «Совсем, как гагара ныряет! И как он это только дышит? Как в воде видит?..»

На исходе второй недели наше путешествие, обыкновенно, подходило к концу и начинало понемногу надоедать публике. И чем сильнее охватывала нас скука, тем чаще прибегали мы ко всевозможным ребяческим проделкам, чтобы хоть немного оживить однообразие дня.

Смена. Очередной вахтенный, длинный бородатый учитель в ровдужной «камлейке» (рубашке, сшитой из оленьей мягкой замши), напяливает на голову высокую остроконечную шляпу с густой сеткой, свертывает из газетного лоскутка гигантскую «чортову ножку», насыпает в нее махорку, смешанную с мелко-накрошенной лиственничной корой, и, глубоко затянувшись раза два, медленной и неохотной походкой отправляется на палубу. Публика, притворявшаяся до сих пор спящей, тихо спускается с мешков на пол и, достав пудовые и двухпудовые гири, засовывает их под оленью шкуру, заменявшую у нас тюфяк, и под подушку. Вахтенный, разгуливающий в это время мерными, тяжелыми шагами по палубе, конечно, и не догадывается о проделке своих сотоварищей, которых он оставил спящими. Проходят два часа, вахта кончилась, вахтенный, спустившись вниз, принимается тормошить очередного. Команда лежит, словно мертвая, и в то же время с любопытством наблюдает, как сменившийся сбрасывает с себя верхнюю одежду и с наслаждением бросается в постель.

— А, дьяволы!.. Подложили таки!...

Команда замирает, едва сдерживая смех. Но пострадавший сейчас же вытаскивает гири и осторожно, состроив хитрую мину и стараясь не разбудить притаившихся товарищей, пере-

кладывает ее в постель очередного. Отомстив таким образом, он с блаженством растягивается на своей постели и сразмаху опускает голову на подушку. Наткнувшись на вторую гирю, он вскакивает, как ужаленный, и, не выдержав характера, набрасывается на ближайшего соседа, который никак не мог справиться со смехом и выдал себя головой. Тогда вся команда сбрасывает с себя маску, и паузок оглашается гомерическим хохотом здоровых, полных энергии и жизни людей.

Надоедала одна шутка, придумывали другую. На корме, с наружной стороны паузка, над самым уровнем воды мы устроили подмостки, служившие нам «уборной». Как раз над этими подмостками, в стенке паузка было вырублено небольшое оконце, через которое отливалась вода из паузка. Обыкновенно публика весьма неохотно исполняла эту тягостную обязанность; но зато, когда кто-нибудь из команды спускался в «уборную», у всех появлялась какая-то непреодолимая страсть к этому занятию. Публика хватала ковши и туески, жолоб мгновенно наполнялся водой, и широкая струя застоявшейся воды обдавала несчастную жертву... А внутри паузка гремел неистовый хор команды, воспроизводившей на все лады крики молодых чаек.

Много смеху было и с нашими охотниками. Не рассчитывая на регулярное пополнение провианта, мы всегда возили с собой охотничье ружье. Оно стояло у входа в паузок, и время от времени любители стреляли из него по чайкам. Попасть в чайку в лет было для наших стрелков довольно мудрено; но публика не переставала палить из злосчастного ружья. И делала она это вовсе не потому, что ей хотелось убить птицу, мясо которой в пищу совершенно не годится; причины, побуждавшие нас к такому спорту, лежали совершенно в другой плоскости: мы просто заметили, что это вызывает молчаливое негодование со стороны хозяина ружья, который считал такую трату зарядов постыдной и заслуживающей всяческого осуждения. Подразнить его доставляло нам своеобразное удовольствие: это было своего рода развлечение!

Чем ближе подъезжали мы к конечному пункту нашего плаванья, тем сильнее чувствовалась потребность избавиться, наконец, от этого плавучего дома и сойти на берег; а паузок, как на зло, шел все медленнее и медленнее, так как у Нижне-

Колымска, расположенного недалеко от устья реки, течение значительно ослабевает.

Вторая неделя на исходе. Проплыли длинный, вытянувшийся словно стрелка, плес, медленно прошла перед нами заимка «Ермолово» с белеющими полосками неводов на берегу, потом «Волочек», а спустя короткое время на светло-голубой шири небесного свода, далеко за кустами и мелким щетинистым лесом, показывается крест и верхушка колокольни. Долго стоят они перед нашими глазами, и нетерпеливому взору кажется, будто расстояние между нами и церковью вовсе не уменьшается, словно паузок все время стоит на одном и том же месте. Проходит еще три-четыре часа, и мы, наконец, торжественно подплываем к Нижне-Колымску, благополучно доставив порученный нам груз на место. Якоря с шумом падают в воду, с паузка перебрасываются на берег сходни, команда поспешно спускается на берег и отправляется к местным жителям пить чай и отдыхать.

На следующий день из матросов мы превращаемся в крючников. Взвалив на себя четырехпудовые кули, кряхтя и обливаясь потом и неуверенно ступая по шатким подмосткам, с риском на каждом шагу попасть вместе с тяжестью в воду, мы перетаскиваем груз на берег, а отсюда на довольно высокий и крутой яр. Особенно трудно было таскать мешки с солью. Мешки были плохие, дырявые, соль попадала за шею и разъедала кожу, причиняя не мало огорчения импровизированным носильщикам. В течение двух дней наша артель (первого сплава) перетаскала все 1200 пудов из паузка на берег, при чем даже мы сами подчас не могли понять, откуда у нас, городских и совершенно не привыкших к физическому труду жителей, явилось столько силы и выносливости.

Груз сдан; палатки, постели, сумы с провизией и вещами перенесены на лодку. Пора отправляться обратно. Наша лодка обычного колымского типа сделана из осиновых досок, пришитых тальничными прутьями к выдолбленному корытообразному днищу. В ней нет ни одной железной части; она очень легка, подвижна и прекрасно слушается руля. В передней части ее, поближе к красиво выгнутому носу, укреплена мачта с большим парусом, сшитым из простынь и кусочков полотна, в которые прежде были заделаны посылки, получа-

вшиеся нами от родных. Поэтому он весь покрыт надписями; словно книга для регистрации почтовых получений. По середине мачты висит кольцо, сплетенное из тальниковых веток, сквозь это кольцо пропускается бечева, на конце которой прикреплены лямки для бурлаков.

Нагрузчик аккуратно распределяет вещи на лодке с таким расчетом, чтобы она была нагружена равномерно и ровно стояла на воде, гребцы усаживаются по местам, кормчий отталкивает лодку от берега, и две пары длинных, легких весел дружными взмахами взрывают поверхность сонной, словно застывшей



Разгрузка паузка.

реки. Теперь, после гигантских, неуклюжих паузочных весел, гребля кажется игрушечной забавой. Лодочка легко скользит вдоль крутого берега, покрытого мелким тальником и жалкими, искривленными, рахитичными лиственницами. Через каждые два часа гребцы сменяются, и на третьей смене мы подъезжаем к заимке «Ермолово», где команда решает дневать.

На берегу нас встречают местные жители. Им интересно знать, что мы привезли, как плавали, что слышно в городе и т. д. Нам услужливо помогают вытащить лодку на берег и перенести свои вещи: ведь наш приезд все-таки вносит разнообразие в их среду. В ограде маленького дома, принадлежащего ссыльному скопцу Лихачеву, мы разбиваем большую брезентовую палатку, которая досталась нам от американской экспедиции и возбу-

ждала всеобщую зависть и изумление среди местных жителей. Эта палатка напоминала собою дом, в ней помещалось пять человек, располагавшихся на брезентовом полу вповалку. Самые приятные воспоминания связаны у меня с этой палаткой. Измучаешься, бывало, за целый день на веслах и бечеве, продрогнешь от сырости и дождя, и под конец только и думаешь об одном: поскорее бы наступил вечер, поскорее бы пристать и разбить палатку! После нескольких упражнений мы научились управляться с нею очень быстро. Покуда лодка вытаскивалась на берег и разгружалась, трое гребцов устанавливали жерди и распяливали на них полотнища нашего подвижного дома. По середине палатки на плоском ящике устанавливалась довольно широкая доска, заменявшая стол, вокруг которого совершенно свободно размещалась публика на свернутых в небольшие вьючки постелях. Через каких-нибудь полчаса, место, на котором мы основывались, совершенно преображалось. На дикой площадке, до сих пор лишенной всяких признаков человеческого пребывания, выростал белый колышущийся домик; недалеко от него весело потрескивал большой костер, озарявший трепетным, перебегающим огнем потемневшие кусты и деревья; у палатки суетились какие-то странные бородатые фигуры в причудливых костюмах; их косматые длинные тени бегали по земле, вытягиваясь и пропадая в темной массе кустов. Около палатки появлялись тонкие жерди, на концы которых насаживались подошвами вверх намокшие за день «сары» для просушки.

Хлопоты кончены, уха из превосходной рыбы, доступной в России лишь богачам, давно поспела, гигантский чайник бурлит и выбрасывает из носика прямую струйку белого пара. Продрогшая публика усаживается в палатке вокруг стола, на котором расставлена посуда и горит свеча.

— Подавать, что ли!..—доносится вопрошающий окрик кашевара.

Публика нетерпеливо расхватывает ложки, а дежурный торжественно вносит в палатку драгоценный котел и ставит его на стол.

— Ну, что же...—меланхолически произносит один из «жрецов», подмигивая сотоварищам.—Сегодня сыро, надо бы принять средство против ревматизма.

— Конечно,—вторит его сосед, с подчеркнутой готовностью выражая общее настроение,—уж если сегодня не дернуть, так я уж не знаю, зачем мы ее с собою и возили.

Артельный староста хранит гробовое молчание. Ему тоже хочется выпить, но он считает нужным выдержать характер. С другой стороны, запас *ее*, т.-е. попросту водки, невелик, а впереди предстоит еще долгая дорога, ряд всевозможных испытаний, и этот живительный напиток может еще очень и очень понадобиться.



На ночевке.

— Господа,—произносит староста после минутного раздумья,—вы сами отлично понимаете, что я и сам не прочь...

— Понимаем, понимаем! Нечего разводить философию...

— Погодите же, не перебивайте!.. Но ведь у нас запасов мало, и к тому же я нахожу, что сегодня в общем было вовсе не так уж сыро и что поэтому можно обойтись одним чаем... А чтобы вы успокоились, предлагаю выдать к чаю по галете...

С точки зрения старосты, это уступка очень значительная, но он не без задней мысли идет на нее, рассчитывая, что вкусные галеты из крупичатой муки соблазнят публику, которой до смерти надоели отвратительные ржаные сухари, и что, таким образом, ему удастся отвлечь внимание команды от главного предмета спора. Но его уловка приводит к совершенно неожиданным результатам: взбунтовавшийся экипаж ни за что не хочет отка-

заться от основного требования и, кроме того, решает воспользоваться слабостью старосты и настоять на выдаче по одной галете на брата.

Никогда не должны прибегать к компромиссам лица, поставленные во главе какого-нибудь общества. Чем больше делаешь уступок оппозиции, тем сильнее падает престиж власти, тем скорее она делается жалкой игрушкой разгоревшихся страстей. Через пять минут на столе появляется заветная бутылка, и торжествующий механик уверенной, опытной рукой разливает живительную влагу по чашкам. Староста с мрачным видом берет свою чарку, быстро выпивает ее и произносит: «За ваше здоровье, господа. Чтоб вы пропали!..» Инцидент исчерпан. На следующей остановке он снова повторится, но уже по поводу рисовой каши с маслом. Староста будет опять приводить все доводы против, а бунтовщики все-таки поставят на своем.

После рюмки настроение у всех сразу оживляется, приятная теплота разливается по всему телу и приводит уставший экипаж в самое веселое состояние духа. Даже староста начинает соглашаться с тем, что выпить действительно стоило. Затем набрасываются на рыбу. Котел с ухой моментально пустеет, и на подмогу появляется второй, запасный. Насытившись, обитатели брезентового домика приступают к бесконечному чаепитию с превосходными крупичатыми галетами. Завязывается общий разговор, обыкновенно вращающийся около ближайших вопросов дня.

— Скандал!—говорит, нахмурив брови, механик-поляк,— ведь мы сегодня и сорока верст не сделали, пся крев! Если так пойдет дальше, то, чорт его знает, когда мы еще доберемся до города...

Другие находят, что дело идет как следует, но нетерпеливый механик упорно стоит на своем.

— Ну, не спорьте,—вставляет свое слово староста, занимающийся в это время подсчетом, хватит ли провизии до самого конца.—Как-нибудь доберемся, ведь не в первый раз...

Иногда разговор касался других, более жгучих тем, особенно если в пути нас встречала почта и приносила какие-нибудь важные известия. В таких случаях интерес к путешествию и даже дисциплина как-то падали, а умственные запросы

на некоторое время одерживали верх. Команда начинала небрежно относиться к своим обязанностям и всячески норовила поскорее от них отделаться, чтобы урвать лишнюю минуту и просмотреть газету. Странно было слышать в дикой, примитивной обстановке, где-нибудь на стоянке, на берегу пустынной реки, страстные споры одиноких, заброшенных людей, расположившихся вокруг пылающего костра и по виду своему похожих на дикарей.

— Студенты!.. Да разве можно возлагать на них какие-нибудь надежды?!—горячо выкрикивает какой-нибудь ярый



Чаевка на берегу р. Колымы.

ортодоксальный представитель марксизма в нашей команде.— Ведь в большинстве случаев это дети буржуазии! Поволнуются и запросят пардону!.. Нет, господа, пролетариат не может и не должен итти за ними, он должен выдвинуть из своих рядов собственных вождей, а если интеллигенция хочет бороться, пускай идет за рабочими, так вернее будет!

Как раз в это время Россия была охвачена широким студенческим движением, отголоски которого залетели и в нашу необъятную могилу. Оторванные от родины, располагая лишь жалкими обрывками известий, мы не могли, конечно, как следует разобраться в этом вопросе, требовавшем более близкого знакомства с жизнью. Немудрено поэтому, что наши споры сво-

дились в значительной степени лишь к простому противопоставлению различных точек зрения.

— Постойте,—возражали разгорячившемуся оратору,— а разве вы забыли, какую колоссальную роль сыграло студенчество во время французской революции 1830 и 1848 годов, когда студенты являлись застрельщиками, руководили борьбой на баррикадах, не щадя своей жизни в боях за народную свободу?

— Да, я знаю это, но только теперь времена изменились, теперь пролетариат стал сознательнее, и вождей из буржуазной интеллигенции ему больше не нужно...

Спор разгорался. Горячая волна настоящей, неподдельной жизни, примчавшаяся бог весть откуда, захватывала спорщиков, заставляла усиленнее биться сердца и будила в головах полузаснувшую мысль. Совершенно забыв, что мы находимся за тридевять земель и от пролетариата, и от взбунтовавшегося студенчества, мы как-то невольно переносились душой в знакомую обстановку кружковой горячечной жизни и со всею страстью предавались обсуждению тех событий, которые в это время уже давным давно закончились и результаты которых там— в России—уже были налицо.

Над нами чернело темное полярное небо; догоревший костер тлел кровавою грудой раскаленных углей; в тяжелой ночной тишине бестрепетно застыли кусты и деревья, а подернутая сизым туманом река тихо плескалась о берег, словно прислушиваясь к нашим страстным, горячим и непонятным речам.

Устали спорить, исчерпали все доводы и возражения, оглянулись вокруг... и холодная, острая вражда охватывает спорщиков, вражда к этому мрачному небу, к этим жалким кустам, к этой холодной и бесстрастной реке. Как хочется порвать эти невидимые путы! Как хочется вырваться из этих неуловимых тисков, уйти туда, навстречу новой жизни, которая делом решает все сомнения и выдвигает все новые и новые вопросы в то самое время, когда и о старых мы узнаем лишь спустя несколько месяцев, да и то в самом неполном виде...

Ужин кончен, стол разбирается, на брезентовом полу устраиваются постели из оленьих шкур, и вскоре вся команда, завернувшись в теплые меховые одеяла, спит блаженным сном.

Утром в 6 часов из палатки, ежась от утреннего холодка, выскакивает дежурный. Он разводит костер, готовит кашу и чай, а затем начинает будить публику. Встают неохотно, проклиная судьбу и всех, кто нас сюда послал. Затем постели свертываются в тючки, палатка превращается в небольшой ком, перевязанный веревкой, и вскоре мы снимаемся со стоянки.

Значительную часть пути нам приходилось итти бечевой. Нельзя сказать, чтобы такой способ передвижения был особенно приятен; лишь изредка нам попадался ровный песчаный берег, по которому шагать было легко, словно по пар-



Бурлаки.

кету, в большинстве же случаев ноги вязли в «няше» (так называется здесь топкий илистый берег) и после двух-трех часов такого путешествия буквально отказывались служить. Бывали дни, когда берег становился совершенно непроходим. В таких случаях приходилось подолгу итти против течения на веслах. Это была тяжелая работа, и неудивительно, что в такие моменты публика особенно часто посматривала на парус и вздыхала о ветре.

В этих краях существует поверье, будто свистом можно вызвать ветер. Заметив, что в воздухе появилась свежесть, и река подернулась рябью, наша команда, истомленная упорной греблей, начинала шутки ради свистеть на все лады, стараясь вызвать нового помощника. Иногда он, действительно,

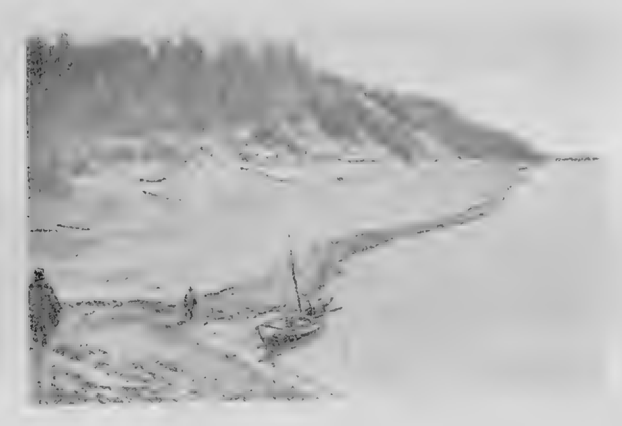
не заставлял себя долго ждать. Тогда мы складывали весла, распускали парус, и, гонимая свежим попутным ветром, наша легкая лодочка быстро скользила по гребням мутных, беспорядочных волн. Не всегда, впрочем, ветер бывал нашим союзником, даже и в тех случаях, когда он дул попутно. Припоминаю, как однажды мы никак не могли справиться со своим не в меру усердным союзником. Сначала мы шли хорошо, и команда наслаждалась бешеной гонкой по разъяренным волнам. Но это удовольствие продолжалось недолго. Ветер вскоре превратился в настоящий ураган и чуть не перевернул нашей лодки. Это была критическая минута, о которой я и до сих пор не могу вспомнить без ужаса. Налетевшим порывом лодку поставило вдоль волны и вынесло на середину реки, где волны были гораздо сильнее, чем у берега. Два-три мощных удара в борт, и нас обдало с головы до ног холодной водой, а вырвавшийся из рук парус беспомощно затрепыхался у мачты. Тщетно несчастный кормчий надрывался изо всех сил, стараясь выправить лодку; налетавшие один за другим бурные порывы ветра парализовали все его усилия. С величайшим трудом удалось нам, наконец, поставить лодку носом к берегу, и через секунду снова налетевший шквал выбросил нас на песчаный берег. Здесь мы просидели двое суток на громадной отмели, засыпаемые песком, измученные, не зная, куда скрыться от этого урагана.

Пройдя верст двадцать, мы приставали к берегу и чаевали. Отдохнув и подкрепившись, отправлялись дальше, затем останавливались снова на ночевку, и так проводили день за днем, усталые, покрытые грязью, изголодавшиеся. На руках и ногах появлялись мозоли, трещины, ссадины; все тело ныло и просило покоя; а мы продолжали подвигаться вперед, отвоевывая каждую версту тяжелым упорным трудом.

Но эта работа не мешала нам любоваться своеобразно красивыми видами, которыми так богаты эти дикие места. Особенно хороши громадные скалы, то совершенно обнаженные, то покрытые ползучим кедром, кустами и лиственницами. Итти бечевой у подножья таких «камней» было тяжело, так как берег здесь усыпан мелкими осколками камней, по которым ступать в нашей обуви было очень больно. Хороши и зеленые острова, покрытые густым тальником (ивой), на которых водится много все-

возможной птицы, попадаются довольно часто лоси и медведи.

Практика показала нам, что самый надежный способ передвижения—это бечева. В первый раз, когда мы возвращались из очень интересной экскурсии к морю, мы решили воспользоваться собаками, которые заменяют здесь бурлаков. Смешно видеть, как две собаки, сравнительно небольшого роста, запряженные в особую упряжь или «алык», с необыкновенным стараніем и упорством тащат в течение целого дня лодку, нагруженную всевозможною кладью, с несколькими пассажирами. Хорошо



Остановка у берега.

выдрессированные собаки выполняют свою ответственную роль без посторонней помощи. Они обходят всевозможные препятствия в виде сучков, кустиков и веток затонувшего дерева, торчащих из воды; переплывают ручьи и протоки, взбираются на крутые скалы, карабкаясь по обнаженным камням и с жалобным плачем и визгом посматривая на сидящих в лодке хозяев.

Если берег становится непроходим, четвероногих бурлаков втаскивают в лодку и идут на веслах. Восторг этих псов, когда на стоянке с них снимают «алыки» и отпускают на волю, не знает пределов. Они катаются по земле, бегают, как сумасшедшие, описывая громадные круги, дерутся, сводя свои старые счеты, и лишь постепенно приходят в себя. Некоторые из них отличаются значительной хитростью и коварством; иногда

в пути они очень ловко высвобождаются из упряжки и удирают во все лопатки. По отношению к таким дезертирам принимаются сугубо строгие меры; например, подвязывают как можно туже и крепче алык, подвергают нещадной экзекуции и т. д. В общем, наши псы доставили нам столько хлопот, что впоследствии мы отказались от их сотрудничества и сами тащили на себе лодку, как заправские бурлаки.

Чем ближе подходили мы к городу, тем сильнее сказывалась потребность закончить затянувшееся путешествие, вымыться, выспаться как следует, и, отдохнув, засесть за книгу. Публика чувствовала себя утомленной, и снова все неудобства продолжительной совместной жизни начинали проявляться во всей полноте. Команда начинала раздражаться и нервничать, дисциплина заметно падала, и глубокое чувство облегчения охватывало всех нас, когда, наконец, после месячного тяжелого путешествия перед нами вдали показывались городские постройки. После блуждания по пустынным, диким местам Средне-Колымск казался нам настоящим городом. Здесь мы могли найти тот комфорт, которого в дороге мы были лишены. Такова уж, очевидно, природа человека: чем больше его гнешь, тем предыдущее состояние, на которое он еще недавно роптал, кажется ему лучше и совершеннее.

Путешествие кончено. Лодка вытащена на берег, подальше от воды. Мачта и весла спрятаны в амбаре до будущего года. Команда возвратилась к своим пенатам и благодушествует, упиваясь чтением газет и журналов, накопившихся за это время. Освеженные, запасшиеся свежими силами, мы готовы встретить бесконечную суровую зиму, продолжающуюся в этих краях почти 8 месяцев.

ГЛАВА VIII.

Жертвы колымской ссылки.

Не раз наши летние путешествия омрачались тяжелыми известиями, полученными нами в пути. Я хорошо помню, как на одной из ночных стоянок мы получили письмо, в котором товарищи извещали нас о самоубийстве шлиссельбуржца Людвига Фомича Яновича. Этот удивительный по своим нравственным качествам человек, полный революционной энергии, несмотря на десять лет, проведенных в Шлиссельбурге при самых ненормальных условиях, пользовался громадным уважением не только в нашей колонии, но и вообще среди всей сибирской ссылки.

Он выделялся среди всех нас своим, я сказал бы, хрустально-прозрачным сердцем, удивительной отзывчивостью к другим, безграничной чуткостью и добротой. В то же время он представлял собою заметную величину и в умственном отношении; запас знаний, который он приобрел в Шлиссельбурге, был очень велик и разнообразен. Неудивительно поэтому, что Л. Ф. сразу занял первое место среди наших теоретиков, хотя средний уровень наших знаний в общем был далеко не из низких. Но дело в том, что все мы были в большей или меньшей степени начитаны и обладали общими познаниями, тогда как у Яновича, кроме последних, была еще и своя специальность, которою он овладел вполне. Он страшно увлекался статистикой, отдавал ей массу времени и труда и даже умудрился в Колымске написать большую статистическую работу, часть которой была помещена

вскоре после его смерти в «Научном Обозрении» за 1902 г. под заглавием: «Очерк развития польской промышленности» (Я. Иллинич). Редакция этого журнала немедленно же внесла Яновича в число своих постоянных сотрудников. Кроме того, он составил подробные статистические таблицы Царства Польского, напечатанные в польском органе «Ekonomista» (1905 г.), и очень интересные воспоминания о Шлиссельбурге, переведенные на русский язык.

Уже вскоре после приезда в Колымск (1897 г.), куда Янович был сослан на поселение, мы убедились, что здоровье его вряд ли сможет справиться с нашим суровым режимом. Ему несомненно было слишком трудно бороться с колымскими условиями, в основе которых лежало хроническое недоедание и отсутствие самого примитивного комфорта, и поэтому мы все глубоко обрадовались, когда узнали, что его вызывают в Якутск в качестве свидетеля по делу А. Ергина [1]. Это было тем более кстати, что как раз к этому времени Янович чувствовал себя морально и физически далеко неважно и в разговоре делал иногда намеки, заставлявшие нас предполагать, что мысль о самоубийстве глубоко засела у него в голове. Мы рассчитывали, что якутская администрация не осмелится отправить обратно в Колымск этого замученного человека, у которого к тому же сильно развился туберкулез легких. Рассчитывали мы также и на то, что в крайнем случае якутским товарищам удастся устроить Яновичу побег. Однако, все наши ожидания совершенно не оправдались. Якутские власти, считавшие в принципе необходимым каждые три года сменять состав чиновников, служащих в Колымске, в виду того, что этот округ считается официально «местом для жительства неудобным», сочла нужным забыть об этом разумном принципе, раз дело шло о народном борце, а якутский полицейский врач, г-н Вонгродский, освидетельствовавший Яновича накануне отправки его обратно, нашел, что состояние его здоровья не представляет никаких препятствий для дальнейшего пребывания его в Средне-Колымске.

---

[1]) В дальнейшем изложении читатель найдет подробности этого дела, в свое время глубоко взволновавшего не только нашу колонию, но и всех вообще ссыльных Сибири.

Интересно заметить, что этот же «врач» потом сообщил своим знакомым чиновникам, что «Янович долго не протянет». Нужно воистину обладать натурой безжалостного палача, чтобы вынести такой бессердечный вердикт человеку, и без того осужденному болезнью на смерть. Удивляться, впрочем, тут нечему. Это было одно из проявлений той системы, которая и прежде без всякой жалости применялась к ссыльным. Так, например, когда чиновник департамента полиции Русинов объявил Гаусману, впоследствии повешенному в г. Якутске (1889 г.), что его отправляют в Средне-Колымск, он прибавил следующее циническое пояснение: «О Средне-Колымске мы ничего больше не знаем, кроме того, что там жить нельзя. Поэтому мы туда и отправляем вас»...

Побег был, правда, подготовлен, и Яновичу предложили сделать попытку, но для того, чтобы осуществить ее, необходимы были свежие силы и крепкое здоровье, и Янович, взвесив все шансы за и против, от этой попытки отказался. Возвращаться в Колымск Янович не хотел, да и не мог, так как это равносильно было бы самоубийству; исхода не было, и этот мужественный, вынесший шлиссельбургскую пытку человек должен был покончить с собою на радость своих врагов [1]). Он застрелился на могиле одного из ссыльных, поляка Подбельского, убитого верными слугами правительства во время знаменитой «Якутской бойни» 1889 г. В письме, оставленном покойным для местной полиции, Янович пишет: «В смерти моей прошу не винить никого. Причиной моего самоубийства является расстройство нервов и усталость, как результат долголетнего тюремного заключения и ссылки (всего 18 лет) при исключительно тяжелых условиях. В сущности говоря, убивает меня русское правительство. Пусть же на него падет ответственность

[1]) В одном из своих писем, помеченных 10 ноября 1897 г., Янович пишет: «— Спрашиваешь, откуда беру сил, чтобы переносить все физические и нравственные страдания? Объяснить это не трудно. У меня всегда была сильная воля, чтобы не быть ниже обстоятельств, среди которых приходилось жить. То, что я переносил, переносили другие, а почему бы мне быть ниже других? Нужно иметь немножко гордости (вернее, собственного достоинства) и не быть чересчур эгоистом, а силы у каждого найдутся. Хуже всего падать духом...».

за мою смерть, равно как и за гибель бесконечного ряда моих товарищей.

Людвиг Янович».

Якутск 17 (30) 1902 г.

В другом письме, оставленном для ссыльных Л. и А. Ергиных, с которыми Янович был в близких дружеских отношениях, он в трогательных выражениях передает свое настроение накануне смерти:

«Мои милые, хорошие друзья! Простите меня за мой эгоистический поступок, за мое дезертирство. Я знаю, как тяжело терять товарищей, знаю потому, что сам испытывал после смерти Гуковского. И все же не могу найти в себе сил, чтобы перенести душевный кризис. Мысль отдохнуть от треволнений жизни не в первый раз является у меня, но или сил у меня было больше, или внутреннее раздвоение было слабее, во всяком случае только теперь я окончательно решил поискать вечного покоя. Если бы вы знали, как тяжело мне причинять вам огорчение. Уверяю вас, что не имею более сил жить. Что касается самой смерти, то она мне вовсе не страшна. Пишу это письмо совершенно спокойно, как любое деловое письмо... Нервы мои совершенно измочалились: По самым пустякам у меня начинается истерика. Я сделался совсем негодной тряпкой. Так зачем же выставлять себя на смех людям? Быть может вы заметите, что я преувеличиваю, так как иногда у меня появляется несколько энергии и некоторая способность к труду, но это ведь было, а теперь моя трудоспособность подлежит большому сомнению. Ну, и расписался же я. И понятно, ум всегда старается доказать справедливость того, чего желает чувство. Не огорчайтесь особенно этим случаем: в одной Европейской России (50 губ.) умирает ежегодно более 3 милл. человек (точно: в 1896 г. 3.081.189). Что же значит какая-нибудь единица?—просто пылинка. Конечно, вам тяжелее будет житься без вашего верного друга и это меня очень и очень огорчает. Меня же вы не жалейте. Я буду счастливо спать вечным сном. Чего же еще лучшего? Однако, я вовсе не пропагандирую эту мысль для других. Я думаю только, что я исполнил по своим силам свой долг и теперь имею право отдохнуть. Целую вас от всей души. Ваш Людвиг Янович».

В письме к якутским товарищам мы находим следующие, очень характерные для Л. Яновича, строки:

«Перед смертью я раздумывал о том, чтобы отправить к С. (Сипягину) одного из вернейших его слуг, но решил этого не делать. Правда, что М. [1]) негодяй, но такими негодяями хоть пруд пруди. Террористические акты должны быть осмыслены. Они должны быть ответом на возмутительные насилия со стороны администрации, но не совершаться только потому, что представляется удобный случай убрать негодяя. Лично же я ему зла не желаю...»

Эти строки не нуждаются ни в каких комментариях. Достаточно их одних, чтобы понять, почему известие о смерти Яновича подействовало на нас так удручающе, когда мы, сидя в нашем маленьком брезентовом домике на пустынном берегу Колымы, с лихорадочным нетерпением срывали конверты с писем, меньше всего предполагая, что в них таится такая страшная, гнетущая весть.

Я только что упомянул, что Янович был вызван в Якутск в качестве свидетеля по делу А. Ергина. Это дело, в свое время наделавшее много шуму не только в ссылке, но и в России, и заграницей, было связано с самоубийством другого товарища, Ивана Калашникова. Неожиданная смерть этого бодрого энергичного человека, полного жизни и сил, была вызвана такими трагическими обстоятельствами и повлекла за собой такие тяжелые последствия, что я считаю необходимым остановиться на ней подробнее. Правда, теперь человеческая жизнь стала так дешева, и в кровавый синодик русской революции внесено столько мучительных истязаний, пыток и смертей, что вся эта колымская драма как-то бледнеет перед массовым истреблением людей, до сих пор продолжающимся на нашей несчастной родине. И все-таки я не могу обойти молчанием эту смерть товарища. Быть может, когда читатель познакомится с подробностями ее, он сам убедится, что описание нашей жизни было бы неполно, если бы я прошел мимо этой драмы.

[1]) Миллер, якутский вице-губернатор, прославившийся своим возмутительным отношением к ссыльным.

Калашников принадлежал к типу тех, в былое время довольно редких, пролетариев, появление которых было так удачно отмечено Рубакиным в его глубоко интересном и показательном рассказе «Искорки». Он родился в г. Майкопе, в бедной одинокой семье, и с ранних лет должен был зарабатывать себе средства к жизни. Способности у него были недурные, и ему сравнительно легко удалось сдать экзамен на штурмана дальнего плаванья. До этого времени он служил матросом в различных пароходствах Черного моря, а затем с дипломом в кармане отправился в Англию, где плавал на различных судах, присматриваясь к жизни английских моряков и усердно работая над изучением английского языка, которым он овладел недурно. В Лондоне он познакомился с Волховским и другими эмигрантами, которые снабжали его литературой и познакомили в общих чертах с сущностью современных социалистических учений. Возвратившись года через два в Россию, Калашников снова поступил матросом на один из пароходов Добровольного флота и, не теряя времени, приступил к пропаганде среди матросов и кочегаров. В это время его взгляды не отличались ни устойчивостью ни определенностью. Социал-демократом он сделался лишь впоследствии, познакомившись в Одессе с социал-демократическим кружком, от имени которого он и начал вести планомерную работу среди своих сослуживцев. Арестованный в 1894 г., он просидел в тюрьме год и пять месяцев, а затем был сослан административно в Средне-Колымск на 10 лет. Здесь он устроился по-хозяйственному и поставил невод, коротая срок со своей семьей, которою обзавелся уже в ссылке.

Весною 1900 г. мимо заимки, где неводил Калашников, проплыл казенный паузок, команда которого состояла из уголовных поселенцев и казаков. Здесь же находился и заседатель Иванов, дикий, невежественный человек, с которым у нас происходили не раз всевозможные столкновения. Выслужившийся из маленьких писцов, якут по происхождению, этот заполярный сатрап легко вошел во вкус «неограниченного образа правления». С жалким, трусливым местным населением он расправлялся без всяких церемоний и очень скоро приобрел репутацию «человека-зверя». Ссыльных он ненавидел органически, постоянно писал на них доносы и всячески старался отравить

им существование. С этим негодяем и столкнула судьба И. Калашникова, когда он в конце июня направлялся на своей душегубке («ветке») к заимке «Среднее», где у него стоял невод.



Могилы «политических» в Колымске.

Покойный товарищ был большой любитель охоты и всегда разъезжал с ружьем, надеясь где-нибудь встретить лося. Поднявшись на несколько верст вверх по течению от своей заимки («Живково»), он увидел казенный паузок, плывший ему на-

встречу... Догадавшись, что на этом паузке есть письма и газеты для него, он подъехал спросить, нет ли корреспонденции? Получив все, что было, он вступил в разговор с одним знакомым казаком, стоявшим у весла. Во время разговора он, между прочим, спросил у казака: «Разве ты нанялся работать на паузке?»

Этот вопрос показался заседателю дерзким и возмутительным.

— Не твое дело!—крикнул он Калашникову.—Как ты смеешь разговаривать!

— Я не с вами разговариваю,—спокойно ответил ему К.

— Молчать, жид!—грубо закричал пришедший в ярость заседатель и разразился бранью.

Завязалась перебранка, которая окончилась вызовом со стороны заседателя: «Иди сюда, я тебя проучу!» [1]).

Не прошло и одной минуты, как разъяренный Калашников уже был на борту паузка и направился к заседателю с твердым намерением заставить его отказаться от своих слов; но он был один против шестерых диких и беспощадных в своей жестокости людей. По приказанию заседателя уголовные поселенцы и двое казаков набросились на Калашникова, повалили его на пол, связали и принялись беспощадно бить, при чем заседатель разбил ему голову каблуком. Натешившись и надругавшись над жертвой, палачи спустили ее в душегубку и поплыли дальше.

Несчастный, собрав все силы, отправился в город, чтобы рассказать товарищам обо всем случившемся. Случилось как раз, что в это же время на заимку «Среднее» приехали трое товарищей из города, Л. Янович, Л. Ергина и А. Орлов. Они были страшно поражены переменой, происшедшей в Калашникове за такое короткое время; познакомившись с обстоятельствами, они принялись наскоро обсуждать план дальнейших действий. Вскоре знакомый казак позвал их к себе в дом обедать, при чем Калашников под каким-то предлогом ушел в поварню,

---

[1]) Подробное описание этой истории читатель найдет в обстоятельной статье Л. Ергиной: «Воспоминания из жизни в ссылке» («Былое», июнь, 1907), откуда я заимствовал, с незначительными изменениями, приведенные выше строки.

стоявшую недалеко от дома. Здесь он набросал на клочке бумаги посмертную записку; затем привязал собачку берданки к ножке кровати и, направив дуло в сердце, покончил с собой. Когда товарищи, встревоженные неожиданным выстрелом, вбежали в поварню, он был уже мертв. Вот что было набросано в записке:

«Людвиг Фомич, прошу товарищей взять Борьку. Прощайте. Кровь на голову прохвоста Иванова.

И. Калашников.

Умираю с верой в лучшее будущее.
Пусть Борька отомстит за меня».

Бедняга, очевидно, не рассчитывал, что из среды колонии выдвинется мститель, и завещал отомстить за себя своему малолетнему сыну. Но он ошибся. Через месяц с днями (4-го сентября) заседатель был убит ссыльным Александром Ергиным, который был немедленно арестован. Вся эта история вызвала в городе огромную сенсацию. Во-первых, самый факт избиения ссыльного, случившийся в первый раз за все время, произвел самое неблагоприятное впечатление на местных обывателей, которые к тому же очень не любили заседателя за его грубость и жестокость. А во-вторых, никому из обывателей не могло и в голову притти, что ссыльные решатся на такую энергичную расправу с виновником гибели товарища. Замечательно, что несмотря на полное отсутствие каких-либо данных, которые могли бы указать на коллективную подготовку покушения, обыватели тем не менее упорно утверждали, что Иванова убили *государственные*, как бы бессознательно подчеркивая этим солидарность всех ссыльных.

Паника в городе в этот день была всеобщая. Жители почему-то решили, что государственные хотят перестрелять всех, кто был на паузке и принимал участие в избиении Калашникова. Одна старуха, приехавшая из города на заимку уверяла всех, что в течение трех дней после выстрела Ергина в городе не было солнца, стояла ночь, и никто не видел друг друга. Администрация страшно струсила и с тревогой ожидала дальнейших событий. Настроение ссыльных было очень возбужденное, и я нисколько не сомневаюсь в том, что если бы кто-нибудь

осмелился тронуть пальцем арестованного товарища, в Колымске разыгралась бы кровавая трагедия.

Когда первые тревожные дни прошли, мы настояли на том, чтобы Ергина перевели из грязной, пропитанной миазмами, «караулки» в частный дом, а затем нам удалось перевести его на собственную квартиру, при чем в качестве заключенного он пользовался услугами особого работника насчет казны и лишь два раза в сутки для проформы навещался дежурным казаком. Дом Ергина, превратившийся теперь в тюрьму для своего собственного хозяина, сделался местом бесконечных собраний всех ссыльных. С раннего вечера и до поздней ночи колония заседала здесь почти всегда в полном сборе, занимаясь чтением, игрою в шахматы или наслаждаясь пением старенького истерзанного граммофона.

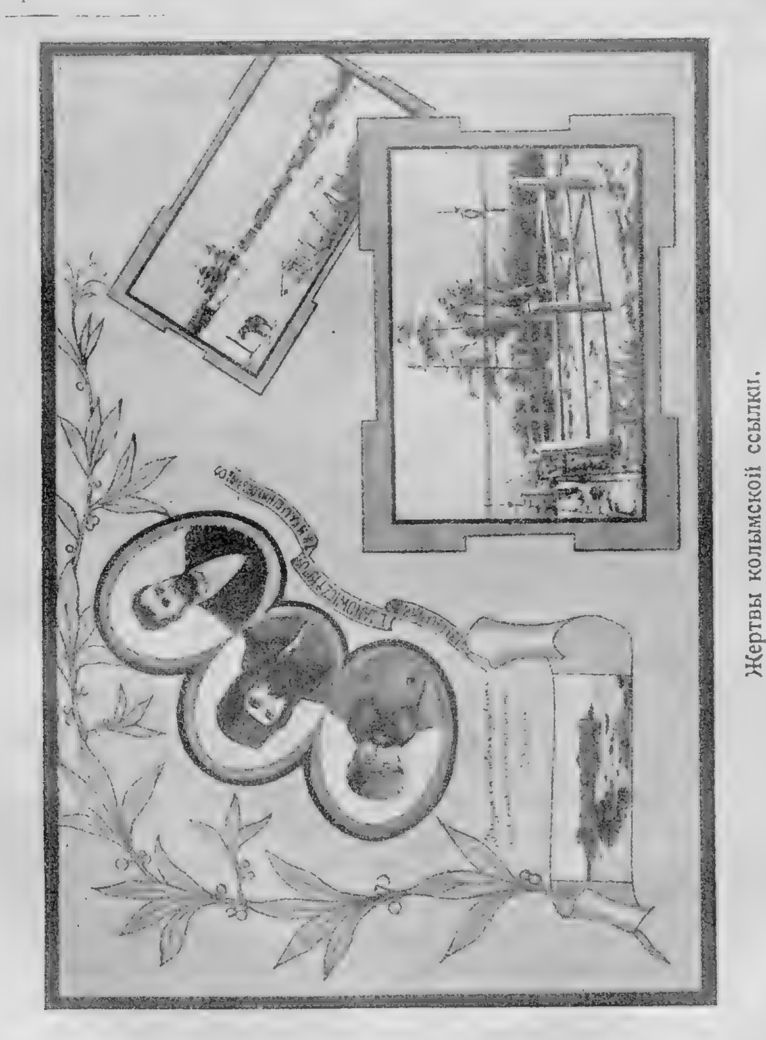
Казалось бы, что, под влиянием всего пережитого, настроение ссылки должно было бы упасть, но в действительности дело обстояло совершенно иначе. Сознание ли того, что поруганная честь товарища была отомщена, или просто сильное нервное возбуждение, связанное с особым чувством, которое часто появляется у людей, готовых в известные моменты к всевозможным, еще не предугаданным испытаниям, а может быть, и все эти причины вместе—создали в ссылке тот подъем, которого мы до сих пор в своей среде не замечали. Тревожные рассуждения на вечную тему о возможной участи Ергина сменялись вечеринками с пением и танцами под звуки граммофона. И даже, когда товарища увозили на суд, мы, собравшись после традиционного прощального обеда проводить Л. и А. Ергиных всей компанией до первой станции, не упустили случая покружиться по комнате в своих неуклюжих торбасах, куклянках [1]) и шубах под дребезжащие звуки граммофона.

С отъездом Ергиных настроение в колонии сразу упало. Тогда-то и обнаружилось, сколько искусственного возбуждения было в нашем веселье, и как оно было в сущности ненадежно. Дальнейшие известия из Якутска значительно успокоили нас. Суд отказался реабилитировать заседателя Иванова и приговорил

---

[1]) Меховая длинная рубашка с капюшоном, надевается поверх платья и заменяет собою шубу.

Ергина к сравнительно слабому наказанию. Он был присужден к четырем годам арестантских рот и к лишению особенных прав. Через несколько месяцев после отъезда этих товарищей были



Жертвы колымской ссылки.

вызваны в качестве свидетелей Янович и Палинский. Первый из них, как я уже писал выше, застрелился в Якутске, а второй бежал, преодолев по пути целый ряд тяжелых препятствий, каждое из которых он взял буквально с бою.

Калашников был похоронен на «государственном» кладбище. Старое поколение закончило свой «курс» в Колымске очень удачно; оно не оставило здесь ни одной жертвы, если не считать геолога Черского, и поэтому, когда мы сюда приехали, особого кладбища для государственных здесь не существовало. Да и мы натолкнулись на эту печальную необходимость лишь спустя несколько лет после нашего приезда, когда неожиданно для всех нас покончил с собою ссыльный Григорий Гуковский, незадолго до окончания своего срока.

Это был сравнительно молодой, очень способный и энергичный человек, отличавшийся значительной физической силой и настойчивым, решительным характером. Выданный в 1890 г. германским правительством, заигрывавшим в то время с Россией, он обвинялся по делу о приготовлении заграницей взрывчатых веществ, хотя полиции было несомненно известно, что он не разделял террористических взглядов и принадлежал к заграничной социал-демократической группе «Освобождение Труда». После продолжительного предварительного заключения он был посажен на пять лет в «Кресты», а оттуда выслан на пять лет в Средне-Колымск исключительно за мотивированный отказ от присяги. Кажется, уже в тюрьме он страдал резкими приступами меланхолии. Временами он производил на нас самое тяжелое впечатление своим мрачным, угнетенным видом. Попытки к самоубийству делались им неоднократно. Я помню, как однажды, вскоре после моего приезда в Средне-Колымск, он пришел ко мне сильно возбужденный и взволнованный. Я тогда же обратил внимание на то, что от него сильно несло опием.

— Гуковский, вы только что приняли опий?

— Да. Представьте себе, я выпил целый флакон, и яд на меня совершенно не подействовал!

Тяжело было как-то видеть человека, который избавился от смерти только благодаря счастливой случайности и относительно которого нельзя было сказать с уверенностью, что он не повторит своей ужасной попытки в ближайшем будущем. К тому же Гуковский был не из тех людей, на которых можно подействовать разговорами и общими рассуждениями. В таких случаях

он обыкновенно отвечал: «Моя жизнь принадлежит мне, и никто не вправе требовать от меня, чтобы я жил, когда я жить не хочу» [1]).

Наши приготовления к побегу на время захватили и оживили товарища. Он с головой ушел в постройку лодок, по целым дням, даже в жгучие морозы, работая над распилкой бревен на доски и плахи. Казалось, этот упорный физический труд дает ему возможность забыться и отдохнуть от грызущей тоски, которая по временам захватывала его целиком и наводила на ужасную мысль о самоубийстве.

Когда последний наш опыт закончился неудачей и мысль о побеге потерпела полное крушение, я с Гуковским решили попытать счастья вдвоем на маленькой лодочке местного производства. Это было предприятие в высшей степени рискованное, почти безнадежное. Но мы все-таки решили осуществить его, руководясь не столько желанием действительно бежать, сколько вполне естественным чувством упорства и раздражения, которое было вызвано печальным финалом всех наших иллюзий. Было как-то обидно, что в глазах не только колымчан, но и всей сибирской ссылки, мы оказались в смешном положении синицы, которая обещала зажечь море и обещания своего не выполнила. К ледоходу мы приготовили лодку, провизию, привели в порядок парус. Оставалось только выстрогать готовые вчерне весла, и все было готово. Как раз в это время Гуковским овладел снова обычный припадок меланхолии. Это прорвалось, между прочим, и во время разговора, который произошел у нас по вопросу о том, отстреливаться ли нам или нет, если исправник пошлет в погоню казаков и нас попытаются захватить. Я доказывал, что оружие следует пустить в ход лишь в том случае, если в нас будут стрелять. Гуковский стоял на противоположной точке зрения и высказался решительно за употребление оружия, если бы даже погоня вздумала захватить нас голыми руками.

---

[1]) Двоюродная сестра этого товарища, Виктория Гуковская, девушка 14 лет, сосланная в Сибирь в 1879 году по делу Лизогуба и др., повесилась в 1881 г. в гор. Красноярске; брат его, Михаил Гуковский, молодой литератор, подававший большие надежды, покончил с собою, если не ошибаюсь, года 4 тому назад. Кроме того, в этой семье были еще и другие случаи самоубийства. Все это, несомненно, доказывает, что мы имеем дело с семьей, предрасположенной к такому исходу.

В конце концов, мы сошлись на компромиссе: было решено держать оружие наготове, но воспользоваться им в зависимости от условий. В тот же день вечером ко мне пришел Гуковский с небольшим ящиком в руках, который от хотел обшить брезентом. Он был совершенно спокоен и невозмутим.

— Смотрите,—сказал он, откинув крышку ящика и вынув оттуда небольшой никеллированный револьвер Смита и Вессона,—ведь наш-то револьвер совершенно испорчен. Вот уже целый час я стараюсь взвести курок, и ничего не выходит.

Бедняга не знал, что револьвер был поставлен на предохранительный взвод. Я объяснил ему устройство предохранителя, при чем мне и в голову не приходило, какое ужасное употребление он сделает из моего урока. Испробовав несколько раз револьвер при мне, Гуковский попрощался со мною, с особою силою пожав мою руку, и ушел к себе домой. На следующее утро я ждал его к себе часов до десяти, но он не являлся. Я не придал этому факту никакого значения, хотя мне все-таки бросилось в глаза отсутствие товарища, который обыкновенно вставал очень рано и с которым как раз в это утро мы должны были закончить последнюю, не терпевшую отлагательства работу. Прошел еще час, а Гуковский все не являлся. Я отправился к нему.

Первое, что бросилось мне в глаза, это довольно большая кучка черного пепла в камельке, освещенная бледным светом, проходившим сквозь открытую трубу. «Гуковский жег бумаги!»— пронеслось у меня в мозгу, и какое-то странное, неизъяснимо тревожное предчувствие овладело мною. Товарищ лежал раздетый на кровати, закрывши лицо подушкой. Его поза была настолько естественна, что мне и в голову не приходило то, в чем я убедился спустя несколько мгновений. Я окликнул Гуковского, но он спал, очевидно, слишком крепко. Тогда я взял его за плечо и сразу почувствовал под рукою труп. Выскочив, как сумасшедший из комнаты, я побежал за доктором. Хорошо зная, что Гуковский всегда возился с ядом, я решил, что он отравился, и возлагал на доктора кое-какие надежды. Но я ошибся. Когда доктор снял с лица товарища подушку, оказалось, что Гуковский покончил с собою выстрелом из того самого револьвера, устройство которого я объяснял ему накануне.

В письме, которое покойный оставил товарищам, говорилось следующее:

«Дорогие товарищи! Пишу вам всем вместе в последний раз. Я не могу объяснить вам подробно причин моего последнего решения. Я хочу только, чтобы все вы знали, что побудили меня к этому никоим образом не обстоятельства последних месяцев. Вопрос этот я решил еще раньше. За последнее время, напротив, мне особенно хотелось жить, и потому рука не поднималась на последний шаг. Только за самое последнее время эта жажда жизни и деятельности как-то вдруг упала, и я сделал то, чего не мог сделать раньше. Итак, прощайте все и будьте счастливы и деятельны. Если за последнее время я бывал более раздражителен и мнителен, чем раньше, а иногда и неуместно резок, то это только под влиянием совершавшейся в душе моей борьбы. Я всегда старался быть честным человеком, а насколько это мне удавалось, пусть судят те, с кем мне пришлось жить.

«Я хотел бы, чтобы матери моей написали, что я нечаянно убил себя, пробуя ружье, или что-либо в этом роде. В надежде, что вы исполните мою просьбу, я не оставляю матери записки. Письмо брату перешлите позднее нефиц. (неофициально) [1]. Я хотел бы, чтобы меня похоронили, не анатомируя. Ну, прощайте же! Г. Гуковский».

Смерть Гуковского поставила на очередь вопрос об устройстве кладбища для государственных. Мы выбрали место за городом, на высоком берегу Колымы, и принялись за устройство площадки, для чего пришлось срезать кочки и дренировать выбранный участок, так как это место, как и вся вообще окрестность, было очень топко и насыщено водой. По поводу ограды между нами возникли разногласия. Янович доказывал, что ограду нужно сделать как можно просторнее.

— Трудно предсказать,—говорил он,—как сложатся дальше обстоятельства, и не вырастут ли рядом с могилой Гуковского вторая и третья...

Он проводил этот аргумент, немного смущенно и в то же время загадочно улыбаясь; и эта улыбка приводила нас всех

---

[1]) Т.-е. оказией, а не по почте. Очевидно, Гуковский опасался, чтобы полиция не вскрыла письма.

в самое гнетущее состояние, словно мы видели, как над измученным шлиссельбургским товарищем реет призрак надвигающейся смерти. Янович был прав. Не прошло и двух лет, как рядом с могилой Гуковского появилась еще одна, в которую мы опустили Калашникова. Кладбище оказалось достаточно просторным для того, чтобы на нем поместился и третий могильный дерновый холм, придавивший своей тяжестью похороненного здесь товарища, Камая.



Рабочий Камай, покончивший с собою в С.-Колымске.

Эта жертва российских тюрем и ссылки так же, как и Гуковский, делала неоднократные попытки к самоубийству, покуда не успокоилась навеки. Самоубийство Камая тоже должно быть отнесено на счет беспредельной жестокости якутских и иных властей. Сначала Камай был сослан в один из улусов, недалеко от Якутска. Больной и измученный, весь отравленный свинцом (он был по профессии наборщик), с пораженными туберкулезом легкими, бедняга не мог высидеть в своем заточении и позволил себе возмутительное нарушение закона: он рискнул без разрешения администрации явиться из улуса в город. Его схватили и отправили обратно в улус; но спустя короткое время беглец оказался снова в Якутске. Тогда местные власти рассердились и, пользуясь последней свежей инструкцией [1]), отправили боль-

[1]) Циркуляр 1903 года, угрожающий ссыльным за самовольные отлучки переводом в северные округи Восточной Сибири—Колымский и Верхоянский. В своей статье «Якутская область и ссылка» г. Беренштам совершенно основательно замечает:

«Этот циркуляр совершенно не соответствовал (и) закону. В примечании к ст. 32 пол. о гласном полиц. надзоре (свод законов, т. XIV, прилож. к уст. о предупр. и пресеч. прест.) говорится: «За самовольную отлучку

ного, замученного товарища в Средне-Колымск, откуда вырваться было не так легко. Закон был спасен, преступление наказано, а мартиролог колымских ссыльных увеличился еще одной жертвой самодержавного произвола. Впрочем, не с одним только Камаем или, как я выше указал, с шлиссельбуржцем Яновичем, которого начальство считало опаснейшим врагом существующего порядка, проделывала администрация такие штуки. Я помню, как якутская полиция отправила в Средне - Колымск одного товарища, страдавшего прободением прямой кишки. Несчастный должен был проехать свыше 3.000 верст верхом, и это с болезнью, которая мешала ему сидеть даже при полном спокойствии. Полицейский врач Вонгродский хорошо понимал, во что обойдется такое путешествие больному, и, тем не менее, не принял никаких мер с своей стороны к тому, чтобы задержать отправляемого впредь до его полного выздоровления. Впоследствии этому товарищу делал операцию один из местных ссыльных простыми портняжными ножницами. Шестнадцать раз наш самозванный доктор оперировал больного, и в конце концов несчастный так и уехал из Колымска с искалеченным организмом.



Крест на «Прорве».

поднадзорных из места, назначенного им для жительства, они подвергаются суду и наказанию, определенному в ст. 63 уст. о наказ., налагаемых мировыми судьями». А в 63 ст. установлено наказание: арест не свыше 3-х месяцев или денежное взыскание не свыше 300 рублей с *возвращением обратно* отлучившегося»... Таким образом, наша администрация не нашла ничего лучшего для борьбы с «незаконными» отлучками ссыльных, как произвольное изменение закона посредством циркуляра!

Вскоре после приезда в Средне-Колымск Камай начал хандрить, и, очевидно, тогда уже у него появилась мысль о самоубийстве. Сначала он принял сразу весь запас снотворных порошков, выданный ему на руки из местной аптеки. Яд оказался слишком слабым, и попытка не удалась. Спустя короткое время Камай пустил себе пулю в висок, но револьвер оказался слишком плохим, и покушавшийся отделался легкой царапиной. Но и это не остановило его от задуманного шага. Добыв откуда-то большой запас морфия и приняв такую дозу, которой хватило бы на трех человек, он в тот же день скончался. Мы не хотели дать его трупу разложиться, открыли окна (дело происходило зимой), и товарищ превратился в ледяную статую, которая была затем похоронена на нашем клабдище.

Мой рассказ был бы не полон, если бы я не упомянул еще об одиноком памятнике, находящемся на пустынном берегу Колымы недалеко от устья Омолона, на так называемой «Прорве». Здесь на песчаном яру стоит простой деревянный крест; он водружен на том месте, где умер известный исследователь местного края геолог и палеонтолог Черский. Этот неутомимый ученый, бывший ссыльный, умер от чахотки, застигнутый смертью в самом разгаре своих работ. Тело его было перевезено и похоронено на ближайшей заимке «Омолон».

ГЛАВА IX.

Жизнь ссыльных.

НЕ очень далеко от кладбищенского покоя ушла и жизнь остававшихся в живых невольных обитателей Колымского края. Все время мы находились в состоянии заживо погребенных, и бывали не раз моменты, когда живые завидовали мертвым. Если не считать сравнительного оживления, которое охватывало нас в короткий период весны и лета, то остальное время мы проводили в каком-то полусне, полубытии, когда энергия поневоле ослабевает, мозг работает вяло, и жизнь кажется застывшей в утомительном однообразии вынужденного безделия.

Зимний день начинался у всех в общем одинаково. Просыпаешься поздно—около десяти часов. На дворе еще темно; кажется, что теперь не более пяти часов утра, и вставать не хочется. В комнате температура немногим выше нуля; дыхание выходит изо рта в виде густого пара. Не хочется вылезать из-под теплого мехового одеяла, да ведь в этом и нет никакой нужды. Разве не все равно, лежать или сидеть без дела? И все-таки вставать приходится. Встаешь, дрожа от холода, быстро одеваешься, набрасываешь на себя шубу и взбираешься по лестнице на крышу, чтобы снять покрышку с трубы. Через несколько минут камелек растоплен, и хозяин пристраивается как можно ближе к огню, терпеливо ожидая, покуда комната хоть немного обогреется. Мне часто приходилось менять квартиру, и за все время только в двух тепло сохранялось за ночь настолько, что ртуть в термометре стояла выше нуля. Зато в небольшом домике,

который я купил вместе с погребом и амбаром за 45 рублей, мороз чувствовал себя полным хозяином. За ночь он покрывал стены на аршин с лишним от пола тонким белоснежным слоем инея, а в углах на полу устанавливал оригинальные украшения, напоминавшие по форме, сталагмиты; но только в моей комнате эти сталагмиты были из льда и страшно охлаждали ее. Те места, где щели достигали заметных размеров, мороз опушал причудливым снежным налетом или так называемыми «зайчиками»; а толстые куски льда, вставленные в окна вместо стекол, еще более придавали моему дому характер настоящего полярного жилища. Все это было очень оригинально и красиво, но в то же время от всех этих украшений несло таким нестерпимым, таким убивающим всякую энергию холодом! И в самом деле, что хорошего в том, если чернила в чернильнице превращаются в кусок черного льда, если чай замерзает в стакане и чайнике, а вода в ушате напоминает замерзшее озеро.

Покуда камин разгорится и обогреет лучистой теплотой полузамерзший дом, мороз пользуется удобным случаем и гонит струи холодного воздуха во все щели, заставляя несчастного хозяина выбивать зубами усиленную дробь. Но вот камелек разгорелся; веселый огонь жарким пламенем охватывает всю комнату, и ртутный столбик в градуснике начинает быстро подниматься. Убогая комнатка наполняется треском, шумным говором разгоревшихся дров, иногда прерывающимися громкими, словно пистолетными выстрелами. На душе становится как-то веселее, как будто рядом с тобою есть еще и другое живое существо. Самые лучшие, самые отрадные воспоминания связаны у меня с этим источником тепла и света, согревавшим в зимнюю стужу не только тело, но и душу. Какая-то своеобразная жизнь таится в этой игре веселого, радостного огня, полной живой, непосредственной прелести. Не раз, когда тоска и скука своими ледяными пальцами впивались в мою душу, я растапливал камелек, нарочно выбирая дрова как можно посуше и смолистее, и теплый, приветливый пылавший огонь всегда благотворно действовал на меня, настраивая на тихий, созерцательный лад.

Камелек погас, леденящий холод побежден и часа на три-четыре изгнан из моего жалкого убежища. Придвинув лопаточкой уголь к стенке камелька и засыпав его тонким слоем чистого

пепла, я снова поднимаюсь на крышу и закрываю трубу как можно плотнее особой затычкой, сделанной из оленьей шкуры. Окинув быстрым взглядом беспредельную застывшую даль реки и полюбовавшись красивым видом городка, одетого в белоснежную одежду, я снова спускаюсь вниз и приступаю к чаепитию. Противный кирпичный чай, напоминающий какую-то бурду; не менее противный, крошащийся в руках ржаной хлеб и лишь изредка кусок якутского масла или кусок копченой рыбы («юкалы»),—вот обычное меню нашего утреннего завтрака. Не могу сказать, чтобы такая закуска удовлетворяла меня.



Дом ссыльного на Нижне-Колымске.

Особенно трудно было примириться с этим отвратительным хлебом; но когда я, буквально изголодавшись, вздумал было перейти на крупчатку, в моем бюджете образовалась очень скоро такая брешь, которая любого министра финансов могла бы привести в глубокое уныние.

Покончив с чаем, я принимаюсь за уборку комнаты. Вся эта уборка вместе с отскабливанием льдины, которая за ночь покрывается густым налетом инея, задерживающего свет, занимает каких-нибудь 10—15 минут времени.

Теперь за работу! На столе появляются книги и учебники, при виде которых в голове хозяина невольно появляется вечно одна и та же, и далеко неутешительная мысль: «К чему все это? К чему запасаться новыми знаниями, к чему накоплять груды

всевозможных фактов и сведений, когда жизнь все равно проходит мимо тебя, и все твои познания остаются втуне, никому ненужные и бесполезные?»—«Допустим, что ты прав,—говорит в душе другой голос,—но ведь рано или поздно ты снова вернешься к жизни, и тогда все это тебе пригодится, ты сможешь научить многому других и, таким образом, использовать все свои богатства, накопленные за долгое время вынужденного безделья». Глаза привычным движением оглядывают жалкую полутемную комнатку, на мгновение останавливаются на тусклой, безразлично мертвой льдине, вставленной в окно, и затем лениво и безучастно опускаются на спокойные, словно застывшие строки развернутой книги... «Марлей был мертв, чтобы начать с этого. В этом нет никакое сомнение». Губы машинально повторяют этот бессмысленный набор слов, с помощью которого учебник хочет научить вас английскому языку, а ленивое перо апатично и бесстрастно выводит их на бумаге, белой как снег, как вся окрестная тундра.

Урок английского языка сменяется штудированием какой-нибудь толстой книги или трактата по политической экономии, рабочему вопросу и т. д. «Государственное право важнейших европейских держав», «Страхование рабочих в Германии»... Ах, зачем мне все это? Разве на луне интересуются тем, что делается на земле? Пусть кто-нибудь даст мне книгу, в которой было бы ясно и убедительно доказано, что пройдут эти годы бессмысленной ссылки, что я вернусь обратно способным понимать и чувствовать жизнь, вот тогда для меня книга приобрела бы снова живой интерес, тогда я понял бы постоянные советы своих приятелей с воли—учиться и учиться без конца.

Совсем другое настроение овладевает мною, когда на столе появляется свежая книжка рассказов или толстый журнал. Эти обрывки жизни, принесенные сюда в неуклюжих черных почтовых баулах, действуют на меня, словно бодрящий и возбуждающий напиток. На короткое время я мысленно переношусь в гущу настоящей жизни. Передо мной длинной вереницей проходят живые люди; они думают, работают, страдают, радуются, они живут, и я переживаю вместе с ними их горе и радость, я участвую в их борьбе, разделяю их победы и неудачи.

Теперь это увлечение беллетристикой во мне значительно ослабело, но в Колымске оно превратилось в настоящую страсть, захватывая и других товарищей, очевидно, переживавших то же, что и я. Чтение журналов я неизменно начинал с беллетристического отдела. Таким образом, мне удавалось на короткое мгновение создать вокруг себя атмосферу настоящей жизни, и тогда мне было легче и интереснее следить за текущей публицистической и научной литературой.

Так проходили первые часы моего колымского дня. Затем я снова растапливал камин и приступал к приготовлению обеда.



«Государственные младенцы» (дети политических).

Я не стану утомлять читателя описанием своих кулинарных священнодействий. К тому же они сводились к таким простым операциям и давали такие скудные результаты, что их можно охарактеризовать в двух словах: суп и кусок вареного мяса или рыбы. Иногда я позволял себе некоторое уклонение от этой обычной нормы. В таких случаях на моем столе появлялась молочная каша или жареное мясо, коровье, конское или оленье.

Не всегда, впрочем, мы готовили для себя каждый отдельно; в течение первых лет ссылки мы не раз составляли для этой цели артель, стряпая обеды поочереди или нанимая особую прислугу, и, таким образом, избавлялись от этой скучной, я сказал бы,—отвратительной работы. Но артели наши неизбежно

распадались, так как у некоторых членов, входивших в их состав, почему-то неизбежно складывалось ложное убеждение, будто артельное хозяйство обходится слишком дорого и связано с значительными неудобствами. Я лично придерживался другого взгляда. В качестве постоянного артельного старосты и «министра финансов», долгое время заведывавшего хозяйственной жизнью всей колонии, я имел достаточно случаев убедиться в том, что артельное хозяйство, несмотря на все свои недостатки, все-таки является наиболее выгодным. Но что поделаешь с этой проклятой искусственной скученностью, которая неизбежно приводит к чрезмерному развитию центробежных стремлений и заставляет слишком высоко ценить прелести своего домашнего, хотя бы и одинокого очага! Впрочем, в тех случаях, когда хозяйственные дела могли вестись сообща, но без постоянного и близкого соприкосновения членов артели, артельное начало пускало прочные корни и пользовалось общим признанием колонии. Таким образом, закупка мяса, рыбы, муки, масла и прочих продуктов производилась на кооперативных началах, при чем этим делом заведывал староста, избранный колонией.

После обеда наступал черед хозяйственных работ: необходимо было использовать тот мимолетный, светлый промежуток в полярном дне, который продолжается не более трех-четырех часов и затем сменяется густыми сумерками. За это время нужно было напилить и наколоть дров, натаскать воды из проруби, очистить двор от снега, словом, выполнить ряд работ, от которых уклониться нельзя было и которые, в конце концов, приносили нам много пользы, предохраняя организм от излишней болезненной неподвижности. Все эти работы требуют известного навыка, который давался нам далеко не сразу. Мой первый опыт в этом направлении был прямо таки плачевен, так как энергичные удары топора, впервые попавшего в мои руки, пришлись почему-то не по бревну, которое я хотел разрубить на части, а по сапогам, ознакомление которых с топором совершенно не входило в мои расчеты. Пришлось переменить обувь, но и новые ботинки, которыми я заменил изрубленные сапоги, тоже обнаружили непреодолимое стремление к топору. Раздражению моему не было пределов. К тому же после десятка ударов я почувствовал сильное сердцебиение, голова закружилась, перед

глазами забегали в воздухе красные шарики, а все тело охватила такая слабость, что я растерянно опустил свое орудие и с позором удалился с поля сражения.

В тот же день мне пришлось с товарищем принести с реки полный ушат воды. И тут меня ожидало жестокое испытание; ушат качался на коромысле, словно колокол, и в то же время меня самого бросало из стороны в сторону с такой силой, что я едва держался на ногах. Прохожие не могли без улыбки смотреть на отчаянные усилия, с помощью которых я пытался удержать себя в равновесии. Нечего и говорить, что домой



Возка дров из лесу.

нам удалось принести не более половины ушата. Еще хуже обстояло дело с ведрами, когда приходилось таскать воду одному на коромысле. Оба ведра раскачивались из стороны в сторону с ритмической мерностью маятника, а несчастная фигура несущего извивалась между ними подобно ужу, не зная, каким образом их успокоить. А сколько приходилось принять мук и страданий, прежде чем удавалось, стоя на мосту, наполнить ведра водой! Упрямые—они неизменно шлепались днищами о поверхность воды и медленно уплывали по течению под мост. Только впоследствии я познакомился с приемом, с помощью которого можно заставить ведро сразу захлебнуться и наполниться водой.

Тяжело доставались нам и другие пробные шаги на новом хозяйственном поприще. Хлеб мы пекли сами. В течение

нескольких лет я был главным пекарем, снабжавшим артель продуктами своего изделия. В конце концов, я выучился печь хлеб довольно недурно, но сколько пришлось мне перенести страданий, прежде чем я постиг эту, в сущности, довольно нехитрую науку! Помню, с каким душевным трепетом я приступил к вымешиванию первой квашни. Рука моя беспомощно завязла в серой, густой массе, и я никак не мог оттуда ее вытащить; после получасовой работы я совершенно был измучен, и готов был отказаться от работы. Конечно, никто не стал бы есть моего хлеба, если бы знал, какими ручьями стекал пот с моего лица в квашню, и сколько проклятий примешал я к этому цепкому, липкому тесту. Мои первые пробы встречены были градом насмешек и издевательств со стороны членов артели. В этом не было, конечно, ничего удивительного: хлебы выходили из печи в ужасном виде, подгоревшие с обеих сторон, плоские, как лепешки, и совершенно сырые внутри. Публика не могла отказаться от потребления даже такого хлеба, так как мука стоила слишком дорого; но зато с тем большей силой она обрушивалась на несчастного хлебопека за его неудачные опыты. В области кулинарного искусства, на первых по крайней мере порах, вообще находилось достаточно поводов для всевозможных шуток и издевательств. Как-то раз я взялся сварить кашу. Вскипятив воду, я сразу бухнул в нее полфунта манной крупы и стал терпеливо выжидать, покуда каша сварится. Терпение мое было велико, но, как оказалось, кроме этой важной добродетели нужно было еще и некоторое знакомство с предметом. Прошло много, слишком много времени, а в мутной, бешено бурлившей воде бессмысленно метались несколько огромных шаров, сверху покрытых клейкой сварившейся массой, а внутри, словно в мешочке, заключавших в совершенно сыром виде весь запас злополучной крупы.

Впрочем, далеко не все так волновались по поводу своих кулинарных неудач. Так, например, один из старых товарищей, с которым я прожил вместе около года, совершенно не считался с основными правилами кухонного искусства и готовил обед «на авось». Для этого он бросал в котелок кусок мяса, горсть-другую крупы и немного соли, затем наливал туда воды и, накрыв котелок крышкой, глубоко задвигал его в жарко натопленную печь.

— А что у нас сегодня на обед?—спросишь, бывало, у этого повара.

— А вот увидим,—отвечает он невозмутимо, даже не отрывая глаз от какого-нибудь Канта или Гегеля, поглотивших все его внимание.

— То-есть как это: а вот увидим? Ведь мы так можем остаться совсем без обеда.

— Ну, знаете,—невозмутимо отвечает философ,—на основании точных наблюдений в течение восьми лет я убедился, что это бывает лишь в исключительных случаях.



На огороде.

Должен признаться, что действительность почти всегда оправдывала его оптимизм. Когда приходило время обедать, и мы усаживались за деревянным столиком, покрытым для важности «Русскими Ведомостями» или «Восточным Обозрением», перед нами появлялся черный, похожий на трубочиста котелок, из-под крышки которого с шипением и клокотанием вырывался пар; повар торжественно приподнимал крышку, и оба носа стремительно наклонялись к котелку, чтобы, наконец, узнать, что приуготовила для нас судьба. Если печь была натоплена жарко, получалось жаркое; если жару было недостаточно,— мы имели суп.

— Вот видите!—произносит торжествующе повар, вставая по окончании обеда из-за стола.—Я ведь вам говорил...

С течением времени мы все-таки приспособились к кухне и стали разнообразить свое меню. Особенно много помог нам в этом отношении блестящий опыт шлиссельбуржца Д. Суровцева. Этот энергичный, удивительно работоспособный товарищ, сильно увлекавшийся сельским хозяйством, принялся за разведение овощей с таким усердием, что невольно заразил и всех нас. Он начал с небольшого участка, постепенно расширяя площадь своих владений, и вскоре обзавелся настоящим огородом. Приятно было смотреть на его высокую, мощную фигуру с красивой головой, обрамленной седыми волосами и широкой сивой бородой, когда он спокойно и деловито расхаживал по своим грядкам, то выпалывая сорную траву, то поливая овощи или поправляя тычинки. Терпение у Суровцева было адское, и, быть может, именно поэтому овощи у него выходили такими хорошими. Как-то раз наш огородник заметил, что мыши систематически истребляют горох и грызут стебли ячменя, который он посеял на одной грядке в виде опыта. Этот поступок негодных животных привел Суровцева в страшное раздражение. Он был вегетарианцем, и вид крови вызывал в нем отвращение. Но тут он не вытерпел и призвал на помощь другого товарища, считавшегося опытным стрелком. Долго призванный на помощь стрелок сторожил со взведенным курком появление мышей, и, наконец, мирные до тех пор огородные гряды огласились громким выстрелом. От мыши, конечно, не осталось и следа. Не знаю, разнесло ли ее зарядом, а, может быть, стрелок просто промахнулся; во всяком случае, это сражение не принесло никакой пользы. Тогда Суровцев изготовил множество довольно длинных плах и окружил всю гряду непроницаемой стеной, глубоко закопавши концы этих плах в землю. После этого грабежи прекратились.

В юрте у Суровцева всегда было жарко, словно на экваторе. Но он мирился с этой температурой, так как она нужна была для десятка крохотных огурчиков, которые он выращивал с удивительным терпением, ухаживая за ними, как за маленькими детьми. С наступлением осени упорный труд Суровцева реализовался в виде обильных запасов очень вкусной и довольно крупной репы, картофеля, моркови, свеклы, редьки, петрушки и даже капусты. Следует, впрочем, прибавить, что послед-

няя в наших краях не успевала завиваться и кочанов не давала.

По окончании «полевых» работ Суровцев устраивал сельскохозяйственную выставку. Отобрав лучшие экземпляры овощей, он раскладывал их в симметрическом порядке на столе, пришпилив к каждой овощи этикетку с надписью, которая указывала, сколько весу в каждом экземпляре, и когда он был посажен. Затем посетители получали гостинцы, состоявшие из коллекции различных овощей, и торжество заканчивалось [1]). Убедившись в том, что огородничество мыслимо и за полярным кругом, Суровцев переехал в Верхне-Колымск, где решил поставить дело на широкую ногу, прибавив к разведению огородов и посевы хлеба. Вместе с тем он поставил себе гигантскую и по местным условиям совершенно невыполнимую задачу. Он решил убедить якутов, живущих, как известно, скотоводством, что в их интересах заняться огородничеством и земледелием.

Приехав в Верхне-Колымск, Суровцев принялся, прежде всего, за постройку дома. На своих плечах он притащил по глубокому снегу бревна из лесу и сам построил себе жилище, проявляя при этом свою обычную энергию и упорство. Долго, однако, здесь прожить ему не удалось. Случайно его дом сделался жертвой огня, и бедняга очутился под открытым небом. Но Суровцев и тут не растерялся и не упал духом. Забрав свои вещи, он приехал один на своей лошади в Средне-Колымск, отдохнул здесь среди товарищей недели две и снова отправился обратно строить дом. Ни один из нас, молодых, не мог сравниться по количеству развиваемой энергии и трудоспособности с этим стариком, просидевшим 12 лет в Шлиссельбурге.

Воспользовавшись опытом Суровцева и оставленными им огородами, мы решили заняться этим полезным делом. С первых же шагов наши труды принесли богатую жатву. Под жгучими, благотворными лучами полярного солнца, которое в начале лета ходит круглые сутки по небу, заставляя забывать о суще-

---

[1]) В общем это было точное воспроизведение шлиссельбургского обычая, перенесенного на колымскую почву. Наши шлиссельбуржцы пытались не раз привить колонии некоторые шлиссельбургские привычки, но им это как-то не удавалось.

ствовании ночи, редис и салат поспевали очень быстро и являлись превосходным дополнением к нашему скудному, однообразному столу. К концу лета мы собирали, обыкновенно, порядочный урожай различных овощей, которых нам хватало на два-три зимних месяца. Конечно, мы соблюдали при этом величайшую экономию и пускали в ход даже грубые, зеленые листья капусты, которые обыкновенно выбрасываются. В конце концов, борщ, изготовленный из этих листьев, вовсе уже не так плох, как это может показаться избалованному россиянину. Впрочем, обыкновенному смертному наше огородничество должно было бы показаться вообще довольно курьезным. Нам, например, приходилось, вскапывая огород, натыкаться на слой мерзлой земли не более чем на пол-аршина глубины; а если город заливало водой во время ледохода, то на грядах нашего огорода бесцеремонно располагались громадные льдины, которые приходилось разбивать на куски и выносить за ограду; мы, конечно, нисколько не смущались этими капризами природы и, как ни в чем не бывало, продолжали гнуть свою линию.

Даже цветы разводили мы за полярным кругом. И нередко прелестная, пахучая резеда, стоявшая у меня на подоконнике, примерзала к стеклу, покрывавшемуся холодным льдистым налетом во время первых морозов. Следует прибавить, что полевых цветов в этом скудном крае сравнительно немного и что почти все они совершенно лишены какого-либо запаха.

Но вернемся к описанию среднего зимнего дня, прерванному экскурсией в область огородного дела. Итак, все домашние работы исполнены. К этому времени солнце успело уже закатиться; впереди бесконечный восьми-часовый вечер, который надо чем-нибудь заполнить. Гулять не хочется, так как холод слишком сильно дает себя чувствовать; дома делать нечего; остается только одно—пойти в кому-нибудь в гости. И вот, начинается перекочевывание из одного дома в другой. Посидишь, выпьешь чашку чая, выкуришь папиросу, перекинешься двумятремя словами и, попрощавшись с хозяином, лениво направляешься к двери. Но у хозяина такое же настроение, как и у тебя.

— Погодите, пойду и я с вами,—говорит он, и через минуту мы уже вдвоем направляемся к третьему товарищу. Спустя

короткое время, по улице уже бредут три фигуры. Так нарастает небольшая группа, которая, в конце концов, успокаивается в каком-нибудь семейном доме или «салоне». Инстинкт общественности все-таки берет верх, и мы сходимся, вечно нося внутри себя борьбу двух начал: жизни вместе и в то же время в одиночку.

— «Капсе» (сказывай)...—говорит хозяин, подражая якутам. Мы сбрасываем с себя шубы, а у кого их нет, кукашки (нечто вроде широкой рубашки, сшитой из мягких оленьих шкурок и надевающейся через голову), снимаем шапки и рука-



В ветке по р. Колыме.

вицы, усаживаемся вокруг стола и приступаем в буквальном смысле этого слова к убиванию времени.

— Ну-с,—говорит один из посетителей, завзятый шахматист, потирая иззябшие, покрасневшие от холода руки,—а не сыграть ли нам, например, в шахматы?

Противник, конечно, сейчас же находится, и на шахматной доске завязывается горячий бой, за которым с жгучим интересом следят остальные гости. Другие игры, а особенно игра в карты, не пользовались у нас популярностью. Зато шахматы пользовались исключительной симпатией с нашей стороны, и этой благородной, незаменимой игрой мы страшно увлекались, отдавая ей значительную часть времени, особенно в долгие зимние вечера. Я должен тут же прибавить, что в жизни ссыльных

нередко появлялись особые, с психологической точки зрения вполне объяснимые настроения, когда какая-нибудь игра или развлечение охватывали всю колонию эпидемически, заражая всех членов ее и увлекая даже наиболее уравновешенных и индифферентных. Так, например, я помню полосу шахматных увлечений, когда публика сходилась буквально для того, чтобы сейчас же засесть за доску, и когда за столом молчаливо восседало по две, по три и даже по четыре пары игроков; интерес к шахматам внезапно проявлялся даже у тех ссыльных, которые до тех пор ими совершенно не интересовались. Потом это увлечение проходило, и верными этой игре оставались только самые завзятые игроки.

Шахматы уступали место танцам. Это развлечение захватило нас однажды на целую зиму. Почти каждый вечер сходились пары в лучшую юрту, где пол был гладко выстроган и как нельзя больше подходил для этой цели. Даже наш заключенный А. Ергин, искушенный заманчивой перспективой поплясать с товарищами, умудрялся иногда удрать из своего заточения и принимал самое деятельное участие в танцах, несмотря на то, что над ним, по всем признакам, висела угроза в недалеком будущем отправиться на каторгу. Приносили с собой сохранившиеся с незапамятных времен ботинки и туфли, заменяя ими на время танцев широкие, неуклюжие торбаса, сшитые из оленьих шкурок. Никаких музыкальных инструментов у нас не было; различные танцы насвистывались, наигрывались на гребешке или просто напевались. И все-таки я думаю, что на редком балу вытанцовывались различные замысловатые па с большим увлечением, чем у нас. Дело не ограничивалось, однако, этими балами. Плясали в столовой перед обедом, на улице, отправляясь в гости, словом—всюду, где представлялась к этому хотя бы какая-нибудь возможность. Был даже случай, когда один из самых страстных любителей польки-мазурки в пылу увлеченья ударился с такою силой о притолоку, что сейчас же упал навзничь в глубоком обмороке. Это, однако, не помешало ему принимать в тот же вечер участие в общих танцах,—«чтобы не расстроить компании», как скромно объяснял он.

Эпидемический характер носили и наши бесчисленные «пари», поглощавшие в течение долгого периода довольно замет-

ную часть колониального бюджета. Таким путем решались различные спорные вопросы, но чаще всего пари возникали по поводу почты, когда настроение у публики было достаточно взвинчено и легко переходило в азарт. Было у нас несколько любителей, для которых устройство пари превратилось в настоящий спорт. Они постоянно прибегали к подстрекательству, и стоило им только заметить, что два члена колонии вступили в препирательство по какому-нибудь поводу, как сейчас же на сцену выдвигалось обычное предложение: «Ну, стоит ли, господа, портить себе кровь? Ставьте фунтик, и кончено!» Обык-



Проводы ссыльного.

новенно дело кончалось тем, что один из спорщиков отправлялся за конфектами или печением в лавку к великому удовольствию публики. Затем появлялся традиционный самовар, и «ставка» уничтожалась задолго до выяснения спорного вопроса.

В основе всех этих эпидемических увлечений лежала все та же искусственная скученность и полная оторванность от внешней жизни; немудрено было при таких условиях заразиться общим настроением, если только оно вносило хоть какое-нибудь разнообразие в нашу монотонную, скучную обстановку. На почве этой же скученности и обособленности разыгрывались и те бесконечные ссоры, дрязги и личные столкновения, которыми так богата история сибирской, да и вообще всякой ссылки. Пользуясь чисто формальным поводом, а именно тем обстоя-

тельством, что в Колымске, благодаря счастливой случайности, эта отрицательная сторона ссыльной жизни была развита сравнительно слабо, я позволю себе уклониться от изображения этой печальной эпопеи, которая в свое время отравила существование не одному из ссыльных. До известной степени здесь происходило почти то же самое, что в свое время имело место в любой эмиграции, с той лишь разницей, что в эмиграции большинство столкновений даже личного характера облекаются в форму теоретических и партийных разногласий, тогда как у нас личные столкновения были в значительной степени лишены этих облагораживающих форм.

Впрочем, за последний год моего пребывания в Сибири, когда ссылка приобрела исключительно массовый характер, партийный элемент в наших разногласиях взял верх над личным, и в основу деления колоний на лагери легло отношение ссыльных к той или иной партийной программе. Так, например, когда я проезжал через Якутск (в 1905 г.), я застал здесь две совершенно обособленные колонии, которые имели отдельные кассы, «улусные» квартиры, где останавливались товарищи, приезжавшие на время из улусов в город, устраивали отдельные собрания и т. д. Одна колония состояла из социалистов-революционеров, главным образом, из интеллигентов, другая—из социал-демократов, еще не успевших, в свою очередь, расколоться на «большевиков» и «меньшевиков»; в противоположность соц.-революционерам большинство якутских с.-д. состояло из рабочих. Между этими лагерями занимали промежуточное и очень неопределенное положение несколько «независимых», не желавших поступаться личными симпатиями из-за партийных разногласий. Таких «диких» было немного, и за ними быстро укрепилась ироническая кличка членов партии С. П. С., т.-е. партии «сам по себе».

Кроме этих групп, выделилась за последнее время еще одна, относившаяся одинаково враждебно к социалистам-революционерам и к социал-демократам и считавшая их в равной степени «буржуазными» партиями. Эта группа, впоследствии превратившаяся в организацию «Рабочего Заговора», родилась в ссылке, и едва ли не этим обстоятельством объясняются до известной степени те крайности, которыми так обильна ее программа.

Сыграв несколько партий в шахматы и исчерпав всевозможные темы в бесконечных спорах и разговорах, публика медленно расходилась по домам, растапливала камельки и принималась за чтение.

Так жили мы изо дня в день, и лишь изредка серые тоскливые сумерки нашей жизни прерывались такими важными событиями, как приход почты, приезд новых товарищей или какой-нибудь экспедиции, иногда попадавшей в наши края. В таких случаях колония несколько оживлялась и на короткое время выбивалась из колеи, но затем все снова принимало прежнюю окраску, и тоска, словно спрут, властно и настойчиво охватывала нас своими цепкими щупальцами.

С наступлением весны наше настроение несколько изменялось к лучшему. Холодные, бесстрастные дни, скорее напоминавшие собою беспросветную ночь, постепенно удлинялись, солнце все дольше и дольше оставалось на небе и, наконец, в последних числах апреля, совершенно вытесняло ночь. В течение двух недель оно ни разу не скрывалось за горизонтом; обычный распорядок жизни сразу нарушался, и мы теряли всякое представление о времени. Ложишься спать в четыре часа «дня», обедаешь «ночью» и в конце концов не знаешь толком, когда же день и когда ночь. Привыкнуть к такому состоянию довольно трудно, и на меня лично этот двухнедельный день производил тягостное впечатление.

А между тем, если бы не эта особенность заполярных стран, трудно даже представить себе, в течение какого времени растаяли бы эти мощные пласты снега, заглушавшие на долгие зимние месяцы всякую жизнь. Под влиянием теплых лучей проснувшегося солнца, медленно обходящего полным кругом все небо, снег постепенно начинает поддаваться, сначала подергиваясь грязноватым маслянистым налетом и постепенно оседая; затем он превращается в ноздреватую, ажурную массу, быстро исчезающую в мутных потоках вешней воды. Природа торопится жить, и достаточно где-нибудь обнажиться хотя бы кусочку черной увлажненной земли, чтобы на ней сейчас же, энергично прокладывая дорогу к жизни, появилась зеленеющая травка. Не считаются со снежным покровом и набухшие почки тальника; они быстро развертываются навстречу солнечным лучам,

и еще задолго до полного исчезновения снега все кусты покрываются мягкою, нежною зеленью молодых листьев. Иногда побежденная зима делает отчаянную попытку вернуться снова и разъяренной метелью налетает на проснувшуюся тундру и леса, засыпая все по пути огромными снежными сугробами. Но проходит один-другой день, снова из-за туч выглядывает солнце, снова своими жгучими лучами продырявливает всю эту снежную массу и превращает ее в весело журчащие вешние ручейки, освобождая притаившуюся под снегом молодую жизнь. В воздухе, до сих пор мертвом и гулком, словно подземелье, теперь несутся немолчные, веселые крики, оживленное щебетание и чириканье снегирьков, трясогузок, чирков и других залетных гостей... Проходит еще несколько дней, и приблизительно к началу мая могучая Колыма покрывается у берегов широкими полосами вольной воды или «заберегами».

Теперь нашу колонию ни под каким предлогом не заманишь надолго домой. Груди так легко дышится на теплом воздухе, согретом приветливой лаской весны; взор с таким умилением останавливается на зеленеющей травке, на кустах тальника, покрытых распустившимися почками, на птичках, с радостным криком реющих в воздухе; весь организм с такою жадностью вбирает могучую энергию пробудившейся природы, словно стараясь вознаградить себя за многомесячное пребывание в душной, пыльной избе! Пробуждается природа, а вместе с нею и наша колония.

Больше всего волнуются наши охотники. Их двухстволки уже давно приведены в полную боевую готовность, патронташи набиты смертоносными зарядами и только ждут появления уток, гусей, лебедей и прочих пернатых гостей. Начинается полоса охотничьих разговоров и воспоминаний. Почти у каждого из наших Немродов имеется славное охотничье прошлое, при чем иногда в охотничьем увлечении рассказчик, как это часто бывает в таких случаях, сообщает факты совершенно невероятные. То окажется, что он превосходно стрелял и был первоклассным охотником еще в ту пору, когда, по вычислениям ехидных товарищей, ему не было еще и 10 лет; то вдруг он сообщит, что в прошлом году ему случилось вспугнуть лебедя, который поразил его своей чудовищной величиной, и в порыве охот-

ничьего экстаза, весь раскрасневшись и захлебываясь от восторга, выпалит: «Вот, чорт возьми, был лебедь! Жирный, громадный, как конь!» Ныне покойный шлиссельбуржец Янович никак не мог примириться с таким, в сущности вполне невинным, охотничьим хвастовством. Возмущенный, он с иронической улыбкой отходил от рассказчика, протестуя против таких явных несуразностей и преувеличений: «И мелет же человек! Ну, слыханное ли дело, чтобы лебедь был величиною с коня?».

А между тем прав был именно рассказчик. Нужно быть охотником, чтобы понять восторженное опьянение, так властно



Колымские охотники.

охватывающее человека, когда он, притаившись где-нибудь на болотистом берегу озерка, пристально всматривается в смутные, отблескивающие холодною, бесстрастною сталью струйки волнующейся воды, слышит чутким, настороживщимся ухом биение своего сердца и, судорожно сжимая в руках ружье, изогнувшись словно зверь, готовый прыгнуть на добычу,—ожидает, когда пернатые гости весны внезапно зашумят своими крыльями и осторожно шлепнутся о поверхность воды, издав характерное, словно предостерегающее кряканье. Кто хоть раз в своей жизни посидел с ружьем на озерке, подстерегая утку или гуся, тот может понять, почему такая горячечная атмосфера охватывала наших охотников, взбудораженных предстоящим перелетом птицы.

Сначала мимо города, стараясь держаться «заберегн», пролетают утки всевозможных пород: шилохвостки, белобоки-савки, турпаны, отличающиеся своими крупными размерами, твердым придатком, напоминающим рог, на носу и довольно невкусным мясом, сильно отдающим рыбой; за ними появляются гуси и лебеди. Охотники располагаются длинной цепью вдоль берега, т.-е. как раз по пути перелета, так как птица старается все время держаться воды и поэтому очень неохотно сворачивает в сторону от «забереги». Вот вдали, у самого начала цепи, показалась савка... Бац!.. бац!.. бац!.. Ошалевшая утка стрелой пролетает мимо грозной батареи, обыкновенно стреляющей наугад. Якуты, мещане, казаки, попы и наш брат-политик считают нужным послать заряд вдогонку обезумевшей от грохота выстрелов птице, уносящейся в безграничную даль на крыльях испуга. Неудача действует на охотников самым разveселяющим образом. Раздается громкий смех, публика делится соображениями, доказывая, конечно, что промахи произошли совершенно случайно, что савка была бы непременно убита, если бы не то или иное досадное обстоятельство, которое помешало стрелявшему прицелиться, как следует...

Вооружаются ружьями в городе буквально все, и на короткое время весеннего перелета город приобретает вид военного лагеря. Повсюду пикетами стоят или лежат на траве небольшие группы охотников, беспечно покуривающих трубочки и время от времени посылающих заряд по пролетающей мимо птице. Это тоже своего рода убивание времени, эпидемически охватывающее весь город. Берутся за ружье даже и такие несчастливцы, которые, например, по близорукости, не могут во время заметить пролетающей птицы. Я помню, как и меня, человека крайне близорукого, вдруг захватывала эта охотничья горячка. Вооружившись солдатской берданкой, я пристраивался где-нибудь у озерка или болотца и выпускал время от времени смертоносную пулю в небо, на котором, к счастью, никто не живет. Ночью беспрерывная пальба буквально не давала спать. Впрочем, трудно было вообще спать в эти странные ночи-дни, когда все кажется покрытым какою-то таинственной дымкой и отдает сказочными мягкими тонами.

Наиболее ретивые и серьезные охотники уезжают на это время куда-нибудь подальше за реку или на острова. Здесь они набивают иногда массу дичи, но сколько при этом затрачивается зарядов, охотники благоразумно умалчивают.

А жгучие лучи солнца продолжают делать свое животворное дело. Снег совершенно исчезает, и только мертвая река, покрытая грязным, толстым льдом и обрамленная с обеих сторон широкими полосами забереги, напоминает о том, что еще недавно в этом царстве ликующей весны царил убийственный, нестерпимый холод. Но и часы этого мощного ледяного пласта,



«Заимка» на берегу р. Колымы.

сковывающего течение Колымы, теперь сочтены. Еще два-три дня, и вся эта колоссальная масса льда едва заметно, с каким-то особенным, зловещим шипением начинает медленно ползти мимо города. Колыма пошла!

Для местных жителей, включая и нас в их число, это целое событие. Все население высыпает на берег и зорко, по целым часам, следит за уровнем воды, стараясь предугадать, зальет ли город, или на этот раз дело обойдется без потопа. Лед идет сплошной полосой и по временам задерживается на изгибах реки. В таких случаях гигантской силой напора колоссальные глыбы льда выпирает на берег. Случается, что образовавшийся затор задерживает ледоход на долгое время. Тогда наш город постигает наводнение. Впрочем, за все время моего

пребывания в Средне-Колымске город залило водой только один раз.

Оторваться от этой грандиозной картины очень трудно. Часами сидишь на берегу, наблюдая, как огромные льдины, словно застывшие чудовища, взбираются друг на друга и затем с грохотом и мелодичным звоном ломающихся ледяных игл тяжело опускаются в воду. Вот исполинская глыба, напоминающая по размерам пароход, медленно привернулась к берегу и уткнулась в него острым, иззубренным ребром. Еще минута, и, подталкиваемая сзади мощным напором ледяного поля, она начинает всползать на пологий откос, взрывая землю... Одна, другая, третья—и вскоре весь берег покрывается этими застывшими чудовищами, готовыми в любой момент ринуться на город и стереть его до основания.

И в душу прокрадывается невольная тревога. А что, если в самом деле эта дикая, бессмысленная стихия изотрет тебя в порошок и ничего от тебя не останется: ни твоих надежд ни твоей молодой жизни?

На берегу ликование. Охотники стреляют в воздух, приветствуя пробуждение реки, и выстрелы грохочущим эхом отдаются на противоположном берегу; повсюду радостные крики, возня; старухи бросают в воду кусочки рыбы, лоскутки, принося языческую жертву и творя в то же время молитву об обильном улове. Невольно переносишься мыслью в старое языческое время, когда природа так властно царила над человеком, и человек так непосредственно преклонялся перед ней.

С освобождением реки от ледяного покрова в городе начинается деловое оживление. Обыватели приводят в порядок лодки, невода, сети, а затем разъезжаются по заимкам на неводьбу.

До приезда новых товарищей, в 1904 году, мы ни разу не ставили своего невода. Но старая колония усиленно занималась неводьбой и, как передавали мне местные жители, добывала рыбу не хуже заправских рыболовов. Среди новых товарищей оказался один страстный любитель рыбной ловли, практически знакомый с этим делом. Мы быстро сорганизовали артель, приготовили сети и невод и после первой же воды отправили небольшой отряд на сетной промысел. Первый наш опыт оказался очень неудачным. Поставленная сеть таинственно

исчезла, а когда мы приготовили вторую, она оказалась негодной. Таким образом, нам пришлось возложить все надежды на невод, который действительно дал более положительные результаты. Правда, работы на неводу было очень много. Иногда мы проводили круглые сутки без отдыха и сна; комары изводили нас беспощадно; приходилось иной раз подолгу ходить в намокшей обуви и одежде, но все-таки мы находили в этом занятии своеобразную прелесть, связанную с достаточным количеством азарта.

Особенно любил я неводьбу в тихие осенние вечера, когда река погружалась в молчаливую, спокойную дрему и застывала, словно зеркало, окруженная красивой, резко вырисованной на фоне голубого неба, рамкой желтеющих и краснеющих деревьев и тальника. По берегу, медленно, согнувшись в три погибели, бредет «бережничий», а невод тихо спускается по реке правильным полукругом, на конце которого серым пятном виднеется наша лодка... Вдруг, по данному сигналу гребцы хватаются за весла и начинают изо всех сил грести по направлению к берегу; через несколько мгновений полукруг, образуемый неводными поплавками, упирается обоими концами в берег. Начинается священнодействие. Мокрая, тяжелая сеть бесконечной змеей выползает на берег, изредка поблескивая запутавшеюся в ячейках рыбой. Полукруг становится все меньше и меньше, и вскоре за пределами его в том месте, где находится конец мотни, начинается характерное бурление воды. Это скопившаяся в мотне рыба проявляет свою тревогу. Один из рыбаков входит далеко в воду, захватывает устье мешка и, широко расставив его, осторожно выводит на берег. Нельмы, чиры, максуны, омули, играя своей серебристой чешуей и извиваясь во всех направлениях, силятся снова нырнуть в родную стихию, но мы живо успокаиваем взбунтовавшихся пленников ударами короткой палки по голове и бросаем их в глубокую носовую часть лодки. Нередко случалось, что после целого часа работы мы вытаскивали на песчаный берег какого-нибудь жалкого краснoперого окунька, который немедленно получал амнистию; но это нисколько не охлаждало нашего рвения, и спустя короткое время невод снова спускался правильной дугой по течению Колымы.

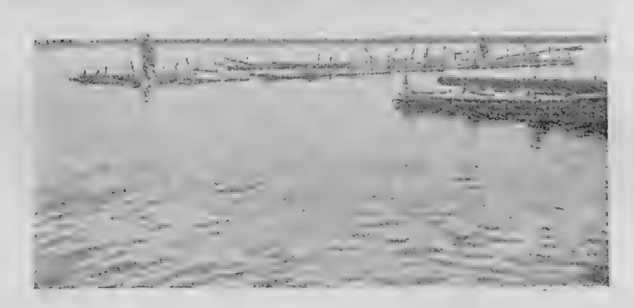
В течение этого лета наша артель питалась почти исключительно рыбой, и я не могу сказать, чтобы такая однообразная пища особенно надоедала нам. Вообще, свежая рыба, взятая прямо из невода, очень вкусна и способна удовлетворить самый прихотливый вкус.

Иногда рыба вдруг исчезала, и на заимке наступал мертвый сезон. Невода отдыхали на длинных стойках, сделанных из круглых жердей, и только самые бедные и потому самые ретивые рыбаки время от времени пытали счастье. Мы же в таких случаях вооружались топорами и пилами и отправлялись в лодке через реку рубить на скалах сухой лес для плотов. Забравшись на вершину скалы, мы срубали там одно дерево за другим и сбрасывали их вниз. С головокружительной быстротой слетали они по камням, увлекая все за собой и теряя по пути сучья, ветви, а иногда ломаясь на части. Закончив работу наверху, мы спускались вниз, распиливали сброшенный лес на чурки, сносили на плечах к берегу и здесь вязали плоты. Много горя и трудов пришлось нам перенести во время таких сплавов. То вдруг плот обмелится и не хочет сдвинуться с места, то поскользнешься и промокнешь с головы до ног, то окажется, что связки плохо держат и приходится накладывать новые, дрожа в холодной осенней воде; но таково уж, очевидно, свойство молодости, что все эти невзгоды не в состоянии были отравить наслаждение, которое испытывала наша артель во время таких работ.

По самой середине реки тихо плывут наши плоты с привязанной лодкой. На плотах дымится огонек, а вокруг него артель, расположившись в самых непринужденных позах, блаженствует, греясь в теплых лучах осеннего солнца и лениво попивая отвратительный чай из чашек и кружек всевозможных фасонов. На реке тихо. Только изредка молодая чайка прорежет своим резким криком безмолвие зачарованной реки, или глухим, словно придавленным голосом закричит выпь далеко в прибрежном лесу, как бы призывая на помощь. Тихо плещет вода о бревна наших плотов; лодочка, белея на солнце своими крутыми боками, то подходит к плоту, то снова отстает от него, натягивая веревку... Не хочется ни говорить ни шевелиться, словно какой-то волшебник заворожил и тебя вместе со всей рекой.

Осенью, когда по ночам становится довольно холодно и река все чаще и чаще окутывается густым непроницаемым туманом, неводить становится тяжело. Работаешь часто наощупь, совершенно не видя ни товарищей ни невода. Обувь примерзает к неводу, ткань которого кажется сделанной из мягкой проволоки; физическая усталость начинает постепенно овладевать артелью и, наконец, словно сговорившись, мы собираем свои пожитки и невод и отправляемся в город на зимовку.

Долго ждать зимы нам не приходилось. Обыкновенно в первых числах сентября подкрадывался первый мороз и сразу



Сплав плотов.

сковывал реку, а затем пушистый снег покрывал заснувшую землю легким саваном, и жизнь снова замирала на целых восемь месяцев. Я не любил колымской зимы, но иногда она дарила нас такими красивыми картинами, которые заставляли на время забывать обо всех неудобствах, неизбежно связанных с продолжительным и слишком суровым холодом. Упомяну, например, о северном сиянии или «сполохе», как его иначе называют. Оно начинается здесь еще в конце осени, накануне первых морозов. В середине зимы сияния повторяются довольно часто и иногда принимают грандиозные размеры.

Помню, был холодный осенний день, когда я с товарищем возвращался как-то из Нижне-Колымска на почтовой лодке. С нами ехали два гребца, которые должны были доставить нас

на ближайшую заимку. Целый день шли мы узенькой «протокой», извивавшейся словно змея на протяжении добрых 40 верст. Собаки, тащившие на бечеве нашу лодку, сильно устали, да и пассажиры не прочь были отдохнуть. Но ямщики хотели во что бы то ни стало выйти из протоки. Проезжая мимо крутого изгиба, покрытого тальником, я заметил над последним тонкую струйку легкого дыма, стоявшую в воздухе неподвижно, словно огромный белый султан.

— Здесь есть люди,—сказал я ямщику.

— Нет,—отвечал он,—это *юкагирский огонь.*

«Странное отношение к юкагирам,—подумал я,—как будто это не люди».

Прошло минут десять; мы давно уже миновали поворот протоки, где происходил наш разговор, а дымок попрежнему стоял перед нами, постепенно вытягиваясь и охватывая все большее пространство. Это меня сбило окончательно с толку. Ведь не может же быть, чтобы мы повернули обратно! Неужели же протока делает здесь такой заворот, что мы очутились снова перед костром? Я только хотел обратиться с этим вопросом к якуту, как вдруг перед моими глазами развернулась картина, ошеломившая меня и заставившая сразу забыть о весьма важной обязанности рулевого, которую я в это время исполнял. Узенький прямой столб дыма мгновенно поднялся к небу, оторвавшись от тальника и расплывшись в форме туманного легкого облака; достигнув довольно значительной высоты, он вдруг собрался в плотную шаровидную массу, завертелся вокруг своей оси и вспыхнул ярким красным пламенем. В то же время на противоположном восточном краю небосклона появилось второе пятно приблизительно такого же размера и цвета. Это было начало цветного северного сияния. Через минуту оба пятна стали бледнеть и таять, и в то же время между ними смелой гигантской аркой пробежала и остановилась широкая искристая полоса голубого, а по краям почти белого цвета.

Я запрокинул голову и застыл в немом восхищении, забыв про все и не обращая внимания на крики ямщиков, которые были возмущены тем, что я посадил лодку на мель. Вдруг дуга засветилась яркозеленым, переливчатым цветом и стала разворачиваться все шире и шире, спуская вниз огромные симметри-

ческие складки, напоминающие театральный занавес. Все время извиваясь, словно змея, и играя удивительно красивой гаммой различных переходящих друг в друга цветов, сияние медленно покрывало северную часть неба, то свертывая, то снова развивая свои ослепительные изгибы на черном фоне загадочного неба. Казалось, будто чья-то невидимая опытная рука выбросила на небо фантастическую ткань, полную жизни и красок, и примеряла ее, собирая в пышные складки и снова распуская для того, чтобы придать ей другую форму. Какое-то странное чувство испытывал я, любуясь этой фантастической



На тоне.

работой невидимого декоратора, производившей своею прихотливою правильностью впечатление чего-то искусственного, преднамеренного. Я понял тогда, что̀ должен чувствовать дикарь, наблюдая такое сияние, и как в уме его складывается убеждение, что там—в заоблачных пространствах—обитают живые существа, располагающие таинственной, могучей силой, перед которой воля и сила человека—ничто.

Наши ямщики убедились окончательно, что я не могу оторваться от этой картины, и решили освободить меня от обязанностей рулевого. Весь поглощенный и подавленный этой удивительной панорамой, я и не думал протестовать. Спустя короткое время, перед нами открылся выход из протоки. Якуты подтянули лодку к берегу и развели костер в тальнике, под-

весив на тонких, гибких жердях чайники и котелки с рыбой... А «сполох» продолжал разгуливать огненной змеей по темному небу, усыпанному блестящими звездами. Наскоро закусив и напившись чая, мы расположились на ночлег тут же у костра, под открытым небом, или на «сендухе», как здесь выражаются. Лежа на спине под теплым меховым одеялом, я долго еще любовался фантастической безмолвной игрой огненных складок на небе. Когда мы утром проснулись, кусты, трава, наши одеяла,— все было покрыто легким, нежным налетом сверкающего инея: под утро ударил первый мороз.

ГЛАВА X.

Колымские обыватели.

Время шло. Одна за другою рвались нити, соединявшие нас когда-то с друзьями, родными, со всей обстановкой, к которой мы привыкли с раннего детства, а новых связей мы установить не могли и чувствовали себя постоянно, как на бивуаке.

Казалось бы, что постоянное проживание в Колымске должно было заставить нас как можно ближе сойтись с местными жителями и отдать свои знания и энергию этим загнанным невежественным обитателям заполярной страны. Так следовало бы поступать, исходя не только из чувств альтруистических, но и руководствуясь тем общим соображением, что без дела организм гораздо скорее поддается упадку, и страсти направляются в дурную сторону; а это для каждого из нас было равносильно разложению заживо. Тем не менее, далеко не все искали выхода именно в этом направлении. За исключением лиц, близко соприкасавшихся с населением по обязанностям своей службы, например, доктора, фельдшерицы, членов экспедиций и т. д., большая часть колонии жила обособленно и довольствовалась своим внутренним мирком. Правда, в значительной степени в этом все-таки была повинна высшая администрация, только и следившая за тем, чтобы дух революционной заразы не проник как-нибудь в этот жалкий, загнанный край.

Читателю покажется смешным, а ведь это факт, что до самого последнего времени нам воспрещалась какая бы то ни была просветительная деятельность; и даже когда наш доктор,

энергичный и деловитый человек, хотел устроить чтение по вопросам узко специальным, например, о тифе, полиция никак не могла примириться с этим и отказала ему в разрешении. А между тем здешнее русское население совершенно лишено каких бы то ни было источников знания и благополучно пребывает в полном неведении относительно самых элементарных вещей, почти ничем не отличаясь в этом отношении от чукчей, ламутов и якутов, населяющих Колымский край. Впрочем, и представители местной администрации далеко не стоят на высоте своего призвания и в умственном отношении мало чем отличаются от местных рядовых жителей. Чтобы не быть голословным, приведу два-три факта, отдающие анекдотом, но в общем представляющие заурядное явление в этой гиблой стране. Как-то раз весь Колымск был глубоко взволнован необычайным происшествием, которое подняло на ноги всю колымскую администрацию и доставило ей массу огорчений.

Неизвестные воры украли из казенного амбара шкатулку с деньгами; пропало свыше двадцати тысяч рублей—богатство для Колымска колоссальное. Несмотря на все усилия, ни денег ни вора найти не удалось. Тогда местная администрация решила прибегнуть к крайнему средству. С одной из ближайших заимок был приглашен самый лучший шаман, который должен был вызвать духов и справиться у них, кто похитил деньги и где последние спрятаны. К чести этих духов нужно сказать, что функции сыскного отделения им пришлись решительно не по вкусу, а их посредник—шаман довольно лукаво увильнул от прямого ответа.

— На деньгах,—сказал он,—есть водяные знаки, а я над водяным духом не властен.

Итак, в начале двадцатого века полиция сочла возможным прибегнуть к содействию шаманов. Одного этого факта, кажется, достаточно, чтобы читателю стало ясно, на каком низком уровне стояла наша колымская администрация.

А вот и другой, не менее пикантный случай. Как-то раз из якутского областного управления был сделан запрос, правда, в довольно курьезной форме: якутские власти справлялись у колымских, в каком состоянии находятся в Колымском крае растительное и животное царство. Колымский командир, кото-

рому было поручено ответить на этот важный вопрос, сообщил буквально следующее: «По невежеству местных жителей, означенные царства найдены не были». Несчастный был уверен что дело идет о настоящих царствах с царем во главе, и, вероятно, в душе не мало потешался над наивностью якутских канцеляристов, воображавших, что в Колымском крае возможны такие царства.

В колымском архиве хранится ряд очень интересных документов в таком же роде. Среди них имеется, например, забавный статистический материал, в котором все слова «злаки» переделаны в «знаки»; местный статистик из полицейского управления, очевидно, не имел никакого представления о том, что такое «злаки», и с решимостью, достойной лучшего применения, решил исправить замеченную опечатку.

Газетами местная администрация интересовалась лишь постольку, поскольку в них время от времени помещались корреспонденции ссыльных. Этих корреспонденций чиновники побаивались, а у нас среди местного населения было довольно много сочувствующих, которые сообщали нам пикантные факты из жизни и действий местной администрации и в особенности попов. Самые вопиющие проделки последних над местным населением беспощадно разоблачались нами на страницах «Восточного Обозрения», издававшегося в Иркутске. За это попы писали на нас всевозможные доносы и всячески вредили нам.

Умственные запросы колымских обывателей были очень невелики. Я долгое время был библиотекарем и могу с уверенностью сказать, что количество книг, взятых из нашей библиотеки местными жителями, было ничтожно. Постоянными читателями были несколько молодых казаков и девушек, интересовавшихся исключительно беллетристикой. Местная администрация к чтению совершенно не привыкла, а из местных купцов и прочей интеллигенции лишь немногие изредка брали у нас книги и едва ли занимались их чтением. Не обходилось дело и без библиотечных курьезов.

Однажды ко мне явился один из обывателей, отставной чиновник, и к моему крайнему изумлению попросил у меня «*Капитал*» К. Маркса. Как раз в это время книга была занята, но не желая огорчать неожиданного поклонника Маркса, я пред-

ложил ему «Критику политической экономии». Бедняга, очевидно, предполагал, что в этой книге объясняется, каким образом можно нажить капитал. Разочарование его должно было быть жестоким.

В другой раз ко мне явился один местный купец с просьбой дать ему Тургенева. Я похвалил его за удачный выбор, но посетитель сразу успокоил меня, сообщив с самым простодушным видом: «Знаете ли, я заметил, что вот эти самые сочинения действуют на меня, как соленая рыба. У меня, видите ли, бессоница, а стоит мне поесть соленую рыбу или почитать вот такое сочинение перед сном, и я сейчас же засыпаю. Только вот, что от соленой рыбы страшно жажда бывает»...

Бедный Тургенев, мог ли он когда-нибудь предполагать, что его «Дворянское гнездо», «Дым» и «Рудин» будут конкурировать с соленой рыбой!

Упомяну еще об одном «интеллигенте» из чиновничьей среды, который иногда подходил во время моих наблюдений к метеорологической будке и важно спрашивал:

— А скажите, пожалуйста, сколько нынче градусов?

— Минус 20, т.-е. 20 холода,—ответишь ему.

— А позвольте узнать,—это у вас по Термомюру или по Реомюру?

С трудом сдерживая улыбку, стараешься в общих чертах объяснить, что у нас есть градусники только двух систем — Реомюра и Цельсия, и что мы считаем по Цельсию. Впрочем, сомневаюсь, чтобы мои объяснения удовлетворяли вопрошающего, так как через некоторое время он снова повторял свой вопрос в обычной формулировке.

Следует здесь же прибавить, что при всем своем невежестве колымская администрация в общем относилась сочувственно к попыткам ссыльных хотя бы несколько поднять умственный уровень местного населения; и если в то же время она была вынуждена ставить нам различные препятствия, то она делала это, главным образом, под давлением якутских и иных властей, ревниво оберегавших колымчан от дурного влияния «государственных». Совсем иначе вели себя представители местного духовенства, прямо заинтересованные в том, чтобы население прозябало в глубоком невежестве. Я помню, какой шум подняли

местные попы и сколько полетело в Якутск доносов, когда один из «политиков» вздумал было давать уроки девятилетней девочке, дочери командира. Можно было подумать, что Колымскому краю действительно угрожала серьезная опасность.

А вот еще один любопытный факт, прекрасно характеризующий отношение местного духовенства к колонии ссыльных. Как мало ни пользовались местные жители книгами «политиков», все-таки наша библиотека была бельмом на глазу у местного протоиерея о. Василия Бережнова. А так как в данном случае никакие доносы помочь ему не могли, то он придумал другое



Старинная казачья крепость в Нижне-Колымске.

средство, не давшее, впрочем, никаких положительных результатов. Он собрал по подписке небольшую сумму денег и поставил вопрос об организации обывательской библиотеки, которая должна была по его плану обслуживать местное население и отвлечь его от библиотеки «политической». Естественно, что первый же пункт устава воспрещал «государственным» доступ в эту библиотеку не только в качестве членов, что было бы еще понятно, но и в качестве простых читателей. Этот параграф крайне возмутил колонию ссыльных. Немедленно было собрано экстренное собрание, которое после долгих прений постановило, в свою очередь, отказывать в книгах всем членам новой обывательской библиотеки и, таким образом, заставить их капитулировать. Как оказалось впоследствии, они были совершенно не солидарны

с учредителем в этом пункте и подчинились только благодаря давлению с его стороны. Библиотечная затея закончилась позорнейшим фиаско. Было выписано всего несколько никому ненужных книг, а собранные деньги исчезли бесследно.

Читатель может себе теперь представить, как относилось колымское духовенство к местному населению и чего последнее могло от него ждать. Я не впаду в преувеличение, если прибавлю, что лица духовного звания занимались, главным образом, меновой торговлей, носящей в здешних местах самые примитивные кабальные формы, и за все время пребывания в Колымском крае ничем не содействовали в умственном и нравственном отношении местному населению, а скорее только развращали и бесстыдно эксплоатировали его. Впрочем, здесь повторялось то же самое, что имело место и во всей Сибири. Я не могу отказать себе в удовольствии привести здесь шуточную балладу, составленную одним из верхоянских ссыльных и прекрасно характеризующую поведение православного духовенства в этих далеких краях. Эта баллада в свое время пользовалась большой популярностью среди местного населения:

БАЛЛАДА.

Всех попов мне милей,
Протопоп Алексей:
Про него моя песня слагается.
Он и в карты играть,
И доносы писать,
И в наслегах «гостить» не стесняется.
Вот под праздник большой
За картежной игрой
Протопоп наш в гостях прохлаждается.
Вдруг вбегает казак,
Говорит ему так:
«Вас в хотоне [1]) больной дожидается!»
Иерей же в ответ:
«Видишь, времени нет,
Без меня пусть к чертям отправляется!»
И хватив рюмок пять,
Продолжает метать,
А больной в эту ночь преставляется.

---

[1]) *Хотон*—коровий хлев.

А игра все идет,
Но попу не везет,
И в досаде он пьет и ругается.
Попадья за попом
Шлет посла за послом,
Наконец, и сама заявляется.
Попадью поп прогнал,
Говорить с ней не стал:
Она с грустью домой возвращается.
А под утро она,
Дум тревожных полна,
На часок, на другой забывается.
Вещий сон снится ей:
Поп спустил сто рублей
И за рясу уже принимается.

Вообще местное духовенство для поднятия умственного уровня колымского населения ничего не делало. Администрация тоже ничего не предпринимала в этом направлении. Впрочем, и сама она очень и очень нуждалась в науке, так как в общем, как читатель мог уже убедиться из предыдущего, умственный уровень наших администраторов стоял слишком низко. А в результате местное население до сих пор находится в безвыходном состоянии полного невежества и выбиться из него никак не может. Грамотных среди местных жителей чрезвычайно мало; даже окончившие местную школу не умеют как следует читать и писать и лишены самых элементарных познаний. Да и может ли быть иначе, раз местная школа находится в руках духовенства, которое зорко следит за тем, чтобы из нее выходили только забитые недоучки? Неудивительно поэтому, что местные жители с величайшим трудом усваивали те крохи знаний, которые мы старались им передать. Я помню, с каким недоверием один из местных обывателей, довольно неглупый якут, отнесся к моим рассказам о железной дороге, воздушном шаре и прочих диковинках цивилизации. Он все время поддакивал мне, очевидно, стесняясь выразить свое недоверие вслух, но в глазах его в то же время светилась лукавая мысль: «а и врешь же ты, брат, здорово!»

Большую службу сыграл для нас в этом отношении наш маленький полуразбитый граммофон. Когда из его трубы перед изумленными якутами и местными жителями прозвучали первые

звуки, они не могли притти в себя от изумления и восторга. Особенно были поражены якуты.

— Ай русский, да русский,—твердили они все время, покачивая головой,—русский все знает, все умеет!

У несчастных сложилось такое представление, будто все, находящееся за пределами Колымского края, принадлежит русским, и что другого народа, кроме русских, вовсе не существует. С большим трудом мне удалось разъяснить слушателям нехитрое устройство граммофона. Впрочем, далеко не все, повидимому, мое объяснение поняли, так как из разговоров я убедился, что некоторые из них так и остались при своем убеждении, что в черной трубе граммофона сидит «злой дух», который и напевает все эти песни.

Вырвать местных жителей из этого прозябания в диком, суеверном невежестве было для нас делом фактически невозможным. А сами они не ощущали никакой потребности в просвещении, так как за ними не было никакой реальной силы, которая бы толкала их на этот путь. Натуральное хозяйство, лежавшее в основе житейского уклада колымчан, не возбуждало в них никаких умственных запросов и отгораживало их высокой стеной от всяких культурных потребностей. Но зато в тех случаях, когда знание было для них важно и приносило им непосредственную, осязательную пользу, они относились к нему очень чутко, сбрасывая с себя обычный индифферентизм. Местные жители, например, очень охотно лечились у наших докторов и, поскольку от них зависело, аккуратно исполняли их предписания. Ясно сознанная необходимость бороться с оспой, которая не раз посещала местный край и выкашивала значительную часть населения, выдвинула из среды местных жителей и даже чукчей нескольких оспопрививателей, довольно удачно справлявшихся со своей задачей.

Но если непосредственное влияние местной колонии в смысле передачи знаний колымчанам было крайне ограничено, все-таки моральная связь между обывателями и нами установилась довольно прочная. Они прекрасно понимали, что в умственном отношении мы стоим гораздо выше местных властей, что в наши задачи вовсе не входит угнетать и эксплоатировать их и что только от нас они могут получить добрый совет или помощь

без всякого возмездия с их стороны. Нужно ли было написать письмо или расписку, получить медицинский или юридический совет, они всегда обращались к нам с полным доверием, словно признавая нас своими естественными покровителями.

Чтобы не быть голословным, я привожу здесь адрес, поднесенный одному из ссыльных, служившему некоторое время смотрителем в местной больнице, от сторожа и его семьи.

1904 года.

«Многа Уважаемый

«Хозяин поимени. С—ій желаю вам, сего хорошего и затемъ благодару васъ завсе ваше за. Доброе дѣло и затемъ. Я у вас служилъ три года и от васъ. Я пилъ и одивался и получалъ. Ѣду. Заыэто васъ. Очень благодару и сверхъ того я ещте получалъ от васъ денги. За что я вашь очени благодару теперь я нижнаю как мнѣ жить. Вы уежаити а мы остоемся мы остоемся от васъ отчень печально. Потому что когда ни бывала ѣда просилъ отвасъ. вы давали. Когда ни бывала денегъ просилъ от васъ вы давали за это очень я васъ благодару и затемъ прошу васъ позалуйста похлопочите новому смотретелю нашетъ мнѣ. Я ошенъ хочу жить и сторожить и тагже буте настолько Добры позалуйста изъ вините что я вашь безъ покою и тагже. Ѣсли можно то можетъ увидити новаго Доктора то ему что нибудь вы скажите нашетъ мнѣ. Прождѣ было хорошо при Доктора и при васъ Теперь вы уежаити оченъ худо потому что мы нищжіе отъ вашь все питались при болезни Доктор былъ хорошій. А при нуздѣ вы были хорошія. Теперъ нижнаемъ какъ жить. Я остаюсъ отъ етого письма. Оченъ печальный Я прежній васъ слуга Константин Третьяков И я тагже. Оченъ благодару родной его сынъ Михаилъ Третьяковъ И тагже благодаритъ васъ Арина Слѣпцовой По нижнанію грамоты прилагаю руку Михаилъ Третьяковъ. Я родной его отецъ».

Я думаю, что сопровождать это письмо какими бы то ни было комментариями совершенно излишне. Автор его выражает свои чувства так откровенно и так ярко подчеркивает сущность отношений между ссыльными и местным населением, что останавливаться на этих строках нет никакой нужды. Не будет преувеличением с моей стороны, если я скажу, что «государствен-

ные» были единственные люди в Колымском крае, всячески избегавшие эксплоатации местного населения. Правда, бывали и среди нас исключения, но в общем даже к торговле мы относились отрицательно, так как прекрасно понимали, что при местных условиях она не может не выродиться в сплошной обман и эксплоатацию туземцев. Вот почему в тех случаях, когда кто-нибудь из среды ссыльных принимался за такое дело, отношение к нему со стороны остальных членов колонии резко изменялось, и ему приходилось в конце концов выйти из ее состава. Впрочем, такие случаи были очень редки и поэтому не могли нарушить общего впечатления, которое наша колония производила на обывателей. Я имею все основания утверждать, что именно это обстоятельство резко выделяло нас из среды местного населения, хотя, конечно, в особую заслугу нам это ставиться не могло. Все местные жители слишком привыкли жить куплей и продажей, а при случае попросту надуть покупателя, чтобы слишком высоко ценить наше воздержание от торговли; вернее всего, что они считали нас какими-то чудаками, правда, очень добрыми и снисходительными, но все-таки чудаками...

Совершенно иные отношения уже издавна установились между колымчанами и местным купечеством. Несмотря на то, что общий оборот торговли в Колымском крае едва ли достигает ста тысяч рублей в год, среди местного населения она производит довольно разрушительное действие. Пользуясь невежеством дикарей, купцы дерут с них за все втридорога, и, в то же время, платят за меха и мамонтовую кость поразительно мало. Для примера приведу очень характерный случай, имевший место в Верхне-Колымске несколько лет тому назад.

«Один господин взял с собою Шалугина (местного кузнеца) проводником на Коркодон. По дороге он дал Шалугину разных товаров и велел их обменивать на лисиц и белок. Шалугин не смел отказать важному лицу и неожиданным образом попал в крупные приказчики. Среди взятых им товаров была кожаная сумка с «круглой русской едой», т.-е. с сушками. Каждая сушка была оценена в одну белку, т.-е. в двадцать коп. В дороге конь Шалугина на наледи споткнулся, упал и раздавил часть сушек. Шалугин в смертельном страхе хотел отделаться от такого хрупкого товара и предлагал суму

своему доверителю обратно. Но последний не взял, говоря: «ты принял, ты отвечать будешь». На Коркодоне часть сушек, оставшихся целыми, старик променял на белок. Ламуты не находили, что цена несколько высока.

«Остальные сушки в суме старик положил на плоскую крышу землянки. Об этом узнали коркодонские дети, и русская еда, сохранившая и не сохранившая круглую форму, весьма скоро очутилась в их желудках. Шалугину же пришлось отвечать по первоначальному счету, которого, впрочем, он не знал и не знает. Но с тех пор прошло уже восемь лет, и каждый год



Якуты.

Шалугин выплачивал долг лисицами и лодками, а в прошлом году за ним еще числилось 150 рублей. Так печально кончилась крупная торговля кузнеца» [1]).

Бороться с такой ужасной эксплоатацией буквально нет никакой возможности; инородцы, доверчивые и наивные, как дети, не в силах что-либо противопоставить изворотливым грабителям высшей расы. Сильные торжествуют повсюду, и этот закон так же применим к якутам и юкагирам, как и к любому африканскому племени. Там, где не помогает простой обман, местные купцы прибегают к обычному, давно уже испытанному средству. Они спаивают несчастных дикарей отврати-

[1]) См. В. Иохельсон: «По рекам Ясачной и Коркодону».

тельной сивухой, и когда дети снежной пустыни достаточно пьянеют, грабят их без всякой жалости. Вот почему местные инородцы буквально вымирают от голода, вот почему они одеваются в жалкие лохмотья в то самое время, как громадные транспорты белок, горностаев, песцов, лисиц и других мехов ежегодно тянутся из Колымского края в Якутск, а отсюда в Россию и заграницу.

Даже к религиозному воздействию не прочь прибегнуть местные хищники-торговцы в тех случаях, когда им кажется, что это средство может помочь.

В одной из поварен, разбросанных по берегам реки Колымы, я нашел случайно, во время одного путешествия, старинное, пожелтевшее письмо, исписанное выцветшими от времени, затейливыми буквами. В этом письме, помеченном 1854 годом, купец Бережнов уговаривал своего должника-юкагира поторопиться с уплатою долга. Я нарочно привожу здесь это письмо, чтобы читатель мог убедиться, что даже далеко на крайнем северо-востоке капитал пускает в ход те же средства и апеллирует к той же религии, которая и на Западе до сих пор играет такую важную роль в руках сильных мира сего.

«Христосъ Воскресе, дорогой брат, Василий Афанасьевич!

«Удивляюсь твоей забывчивости. Отнести ето насчетъ того, что ты юкагиръ, то тому противорѣчит твой русскій языкъ и грамотность. Другъ, приведи на память! Отъ сколькихъ лѣтъ помогалъ я тебѣ и твоей семьѣ въ бѣдѣ и несчастіяхъ. Все это видитъ Богъ! Бойся его прогнѣвить! Он правосуден!»

После этого вразумительного вступления идет длинный счет, итог которого не мог не подействовать самым удручающим образом на должника. За несколько пудов муки, несколько фунтов сахара, конопли и волоса, за два-три железных топора, за один медный котел и еще кое-какие мелкие вещи несчастный обязан был уплатить около тысячи рублей ассигнациями. Ошеломив этим безумным счетом своего «брата» и «друга», купец продолжает: «Все ето видитъ Богъ. Постарайся же исполнить свою обязанность и Онъ навѣрно поможетъ тебѣ. Я же остаюсь всегда расположенный къ тебѣ и къ твоей семьѣ и готовый помочь во всякой нуждѣ, если будешь ты исправен».

Нужно здесь же прибавить, что местные инородцы в общем отличаются удивительной честностью, и если иногда с их стороны случается уклонение от платежей, то это бывает лишь в тех случаях, когда должники действительно не имеют чем платить и впадают в полное нищенство.

Однако, не все инородцы находятся в одинаково беспомощном состоянии. В этом отношении от якутов и юкагиров резко отличаются чукчи, у которых нам, как и всему местному населению, нередко приходилось покупать оленей. Этот сильный, здоровый народ, живущий к западу от реки Колымы, у побережья



Колымский пролетарий.

Ледовитого океана, умеет ценить независимость и не так легко поддается административному или торговому гнету. Правда, они признают себя подданными русского царя и на этом основании выплачивают ежегодно ясак, но дальше этого символа верноподданичества они не идут и по отношению к местным властям держатся крайне независимо, а иногда даже и вызывающе. Каждый год весною колымский исправник посылает к ним казака с просьбой пригнать оленей на продажу. Чукчи обыкновенно долго ломаются, указывая, что они вовсе не обязаны кормить русских. Стадо, конечно, они все-таки пригоняют, но они никогда не начнут продажи оленей раньше, чем исправник не явится к ним с визитом и не привезет с собою подарков. Продавая оленей, они сами назначают цену, и если вы найдете,

что она слишком высока, чукча перестанет с вами разговаривать. Все они прекрасно одеты, упитаны и своим видом резко отличаются от других инородцев, с каждым годом нищающих и вымирающих. Чукчи—едва ли не единственное племя на крайнем северо-востоке, уцелевшее от вырождения и вымирания.

В общем, как с чукчами, так и с другими инородцами, кроме якутов, нам приходилось сталкиваться сравнительно редко, так как все они живут далеко от Средне-Колымска, в тундре, куда мы заезжали лишь во время летних экскурсий. Совсем иначе обстояло дело с якутами, из которых одни живут в городе, а другие часто приезжают сюда из наслегов, привозя с собой для продажи мясо, молоко, масло и другие продукты. С ними мы вступали в деловые сношения, покупая провизию, иногда на значительные суммы, заводили знакомства, так что приезжие якуты считали долгом вежливости навещать нас, если даже особого дела к нам у них не было.

Наиболее сильным экономически классом среди них является небольшая группа якутов, обладающая значительным количеством скота и достаточными денежными средствами для того, чтобы вести меновую торговлю, отнимающую у якутов-охотников (промышленников) и других инородцев меха и заменяющую их гнилыми ситцами и сукном российского производства. Чукотское население и в этом отношении поставлено гораздо выгоднее, чем якуты. Оно получает необходимые и вполне доброкачественные товары морским путем от американцев, которые успели завести с чукчами правильные торговые сношения и ежегодно привозят на пароходах крупчатку, табак, ром, всевозможные ткани, винчестеры и даже швейные машины для обмена на оленьи шкурки, песцов, соболей и другие меха.

Русские купцы тоже имеют постоянный пункт для торговых сделок с чукчами на реке Анюе, впадающей в Колыму недалеко от ее устья. Здесь до самого последнего времени сосредоточивалась главная торговля «пушниной». Впрочем, за последние годы значение этой ярмарки сильно упало. Чукчи сообразили, что им гораздо выгоднее поддерживать меновые сношения с американцами, которые и платят лучше, и дают более добро-

качественные товары в обмен на меха. Русские купцы и здесь проводят обычную «российскую» политику; они торгуют исключительно браком, не находящим себе сбыта в России. Таким образом, получается двойная эксплоатация: мало того, что они скупают меха за бесценок, им удается вдобавок всучить своим покупателям самые жалкие отбросы отечественной промышленности.

Большинство колымского населения состоит из пролетариев в буквальном смысле этого слова. Вечно оборванные и полуголодные, они производят самое тягостное впечатление



Якутские лошади.

на постороннего наблюдателя. Особенно печально их положение весною, когда жалкие запасы пищи обыкновенно подходят к концу, и жителей постигает форменная голодовка. В такое тяжелое время колымчане употребляют вместо пищи все, чему можно придать хоть сколько-нибудь удобоваримый вид. Остатки совершенно разложившейся рыбы, в некоторых случаях даже ремни и налимья кожа, заменяющая в здешних местах оконные стекла, попадают в котлы изголодавшихся пролетариев. Дело доходит даже до людоедства, хотя такие случаи являются, конечно, редкими исключениями. Именно такой ужасный факт имел место несколько лет тому назад в Верхне-Колымске, где нашли юкагирскую семью, погибшую

от голода, при чем один из членов этой семьи был съеден своими же сородичами.

В связи с этим хроническим недоеданием находится значительное развитие нищенства, которое в Средне-Колымске отличается своеобразным характером. По нескольку раз в течение одного и того же дня отворяется дверь в вашем доме и появляется молчаливая фигура, обыкновенно не решающаяся пойти дальше порога. Она стоит очень долго и молчаливо до тех пор, покуда вы не обратите на нее внимания и не спросите, что ей нужно. Если проситель—ребенок, он неизменно скажет:

— Мама жакажывает, если у тебя есть мучка, поделися... Или: мама жакажывает, пришли ей заёжку (т.-е. щепотку) чая или кусочек хлебца...

Получив кусочек хлеба или щепотку чая, ребенок уходит с тем, чтобы снова явиться на следующий день. Дать ему все равно придется, так как посланец не уйдет до тех пор, покуда не получит желаемого. Таким образом, местное население из более зажиточных облагается своего рода данью, избавиться от которой никому не удается.

Рядом с моим домом долгое время жила якутка с двумя дочерьми—«бабья» семья, оказавшаяся впоследствии прокаженною. Я покупал у этой якутки молоко, совершенно не предполагая, что имею дело с очагом проказы. В зимние месяцы, когда у моей соседки не хватало дров, она преспокойно являлась в мое отсутствие ко мне во двор и уносила оттуда дрова. Как-то раз я застал ее, как говорится, на месте преступления.

— Акулина,—сказал я ей укоризненно,—зачем ты таскаешь у меня дрова?

Нисколько не смутившись, соседка улыбнулась широкою улыбкою и добродушно ответила мне:

— А что же делать стану? У меня дров нет, в юрте холодно, а у тебя много!

До самого последнего времени я никогда не употреблял замков и не запирал своей квартиры. Когда мне приходилось уходить, я просто приставлял к своей двери палочку или весло, и этого быдо достаточно, чтобы оградить квартиру от посторонних. Так поступали и остальные жители, и такого символи-

ческого ограждения собственности было вполне достаточно по представлениям местных жителей.

С ранней весны, когда мелкие реки освобождаются от льда, голодные колымчане начинают промышлять рыбу сетями. В это время попадается только щука, которая собственно «рыбой» не считается и в общем потребляется неохотно; затем попадаются и налимы, в которых ценится, главным образом, жирная печень или «макса», как ее здесь называют. Таким образом, местное население кое-как перебивается до ледохода, а когда река проносит лед, наступает сетной промысел и неводьба, снова появляется обилие рыбы, и колымчане забывают о своей голодовке до следующей весны.

Обычная пища местных жителей—рыба и мясо. Муки они потребляют чрезвычайно мало, сахар является лакомством, зелень употребляется тоже в самом ограниченном количестве, так как здесь ее негде достать. На зиму запасливые жители готовят впрок ягоду и засаливают дикий лук, в редких случаях (преимущественно якуты) употребляют еще в пищу мелкоискрошенную заболонь.

* * *

Естественно, что на почве хронического недоедания среди местного населения развивается крайняя истощенность и восприимчивость к различным болезням.

Но особенно сильное развитие получили здесь всевозможные нервные болезни, что объясняется не только постоянными голодовками, но и чрезвычайным однообразием жизни и общим вырождением населения. Наиболее распространенная форма нервных заболеваний среди местного населения и почти исключительно среди женщин—это эмиряченье. Эмиряченьем страдают все колымские женщины поголовно, за очень редкими исключениями. Колымская женщина обладает, по наблюдениям колымского врача С. И. Мицкевича, резко выраженным истерическим характером; она капризна, раздражительна, крайне пуглива, боится мышей, жуков, при виде которых с ней делается иногда припадок неудержимых криков и плача. Настроение женщины, одержимой эмиряченьем, крайне непостоянное:

то она неудержимо смеется, то плачет без достаточного повода, поражая нормального человека своей сварливостью и неуживчивостью. Она вообще чрезвычайно легко поддается всякому мимолетному влечению; чем, быть может, и объясняется значительная легкость местных нравов, отмеченная уже и другими исследователями местного края. К 13—14 годам здешние женщины уже теряют свою девственность.

«С этого времени у них начинают появляться разные припадки, сердцебиение, замирание сердца, globus hystericus, рвоты, головные боли, бессонница и т. д.; в то же время у больной иногда появляются особые припадки, которые якуты называют «мэнэриахха». Русские переводят это слово так: «блажить» или «шаманить» (мэнэрячить). Обычно такой припадок проявляется в резких криках, нервном кашле, громком, надрывающемся пении, сильных конвульсиях и резких непроизвольных движениях, во время которых одержимая припадком рвет на себе платье, качается, как маятник, дико хохочет или разражается истерическим плачем. Туземцы думают, что этот припадок вызывается вселением в больную «беса» или духа, который мучит ее. Про таких мэнэриков среди местного населения ходят рассказы, что они могут втыкать в свое тело нож и что после этого не остается никаких следов; что они могут предсказывать будущее, петь на незнакомом языке и т. д.

«Все это сближает в глазах местного населения мэнэрячение с шаманством. Но якуты строго различают одно от другого и даже имеют отдельные названия для обоих явлений. После такого припадка больную охватывает обыкновенно состояние полнейшей прострации. Описанное выше состояние мэнэрячения иногда ограничивается одним припадком; но иногда этот припадок повторяется или ежедневно, или по несколько раз в день и т. д.; в промежутках между припадками возвращения к нормальному состоянию не бывает. Больная угнетена, часто плачет и находится в полусонном состоянии; иногда у нее развивается бред преследования, она делается сварлива, раздражительна и бросается на окружающих. Кроме того, у нее развиваются судорожные припадки, истерическая икота, метеоризм, глухота; бывают и периоды страстных поз, летаргическое состояние,—вообще весь комплекс симптомов большой

истерии. Продолжается это состояние от нескольких дней до месяца и даже двух.

«Иногда заболевание охватывает сразу нескольких лиц; такие домовые или семейные психические эпидемии не редки в местном крае. Бывают и более обширные эпидемии, как, например, среди верхне-колымских юкагиров в 1899 г., когда более трети населения двух наслегов было охвачено таким «бесснованием».

«Кроме таких припадков большой истерии, на истерическо-дегенеративной почве у туземцев нередко развиваются и длительные помешательства, то с маниакальным, то с меланхолическим характером (что встречается чаще), то с характером бредовым (бред преследования по преимуществу)».

Из всего предыдущего можно видеть, что нервная система северного жителя крайне неустойчива, возбудима; он очень пуглив, в нем сильно развита подражательность, склонность к психическому заражению. На этой почве и развиваются характерные явления, которые носят здесь название «мереченья» или «эмиряченья». Когда женщина, крайне нервозная, пугливая, испугается какого-нибудь неожиданного крика, стука и т. д., она вздрагивает, выкрикивает какое-нибудь распространенное ругательство или просто повторяет какое-нибудь слово, услышанное ею во время испуга, вроде: «ой, брось!», при чем она роняет от испуга то, что держала в руках; или, например: «ой, Христос упал!», при чем вскрикивающая взмахивает руками, словно птица, собирающаяся взлететь на воздух. Про такую пугливую женщину не говорят еще, что она эмирячка: она только «вздрагивает».

Но вот такую вздрагивающую женщину начинают нарочно пугать для забавы, чем местные шутники занимаются часто по целым часам; эти шутки бывают так грубы, что могут испугать и возмутить всякого нормального человека; немудрено поэтому, что они доводят бедную женщину до бешенства, до исступления. В результате нервозность и пугливость преследуемой доходят до крайности. Испуганная при таком настроении женщина приходит в состояние полной растерянности; она бросается на испугавшего ее или просто на кого попало, у ней появляется дрожание в конечностях, сердцебиение, учащение дыхания;

при этом сознание и воспоминание о том, что̀ с ней было, сохраняются смутно. Испуганная, словно в состоянии паники, повторяет жесты испугавшего ее. При дальнейшем повторении сеансов пугания и поддразнивания рефлексы при аффекте испуга превращаются в кривляния и по мере повторения совершаются с большею легкостью и быстротой, все более выходя из контроля сознания.

Больная, привыкшая в состоянии испуга повторять те или другие жесты или движения, делает это впоследствии все с большей легкостью и быстротой. Все легче и легче вызвать больную на повторение всего, что она видит, что слышит, и в конце концов из нее получается настоящая «эмирячка». Такая женщина является настоящей мученицей всех окружающих. Нет того постыдного, преступного или вредного действия, которое бы не совершила эмирячка, когда ее хорошенько «разъэмирячат». Она бросает на пол ребенка, которого держит на руках; разбивает посуду, часы, бьет кого попало палкой, поленом; разбалтывает все свои задушевные тайны, если умело ее расспросить. Сильная эмирячка передразнивает пролетающую птицу, пробежавшую собаку; на улице она передразнивает coitus собак, лошадей; хватает за бороду проходящего человека, если он ее чем-нибудь поразил, например, если у него большая борода, и т. д. Эмирячки эмирячат даже и в тех случаях, если вспомнят какой-либо факт, их поразивший [1]).

И в эту ужасную страну, к которой не могли приспособиться даже и местные дикари, менее требовательные во всех отношениях, ссылали до самого последнего времени культурных людей с высшими запросами, не находившими, конечно, здесь никакого удовлетворения. Много энергии и силы воли совершенно непроизводительно приходилось затрачивать нам для того, чтобы справиться с той ненормальной обстановкой, которая, как читатель мог убедиться из приведенных выше дан-

---

[1]) Все эти данные о мэнэрике и эмиряченьѐ заимствованы мною из доклада доктора С. И. Мицкевича: «Истерия за полярным кругом», прочитанного им на Пироговском съезде (1904 г.).

ных об истерических заболеваниях, неудержимо влечет человека по пути к умопомешательству.

Кроме ссыльных-политических, в Колымский край попадали еще и ссыльные скопцы—эти жертвы ненормальных российских условий. Для всякого мало-мальски мыслящего человека совершенно ясно, что скопчество есть одно из проявлений болезненного психического состояния человека и поэтому с разумной точки зрения не может подлежать никакому наказанию. Однако, русское правительство думало иначе. Спустя три года после моего приезда в Средне-Колымск сюда прибыла целая партия скопцов, состоявшая из шести человек. Все это были люди пожилые, в достаточной степени измученные долговременным пребыванием в ссылке в улусах Якутского округа. Здесь они образовали новую секту, задавшуюся целью очистить скопчество от всевозможных уклонений и развить его до конца. Интересно, что в их новую «программу», если можно так выразиться, вошел и политический элемент, так как они сделали слабую попытку определить в ней свое отношение к господствующему в России политическому порядку. Руководителем и организатором этой группы называли скопца Лихачева, который произвел на всех нас выгодное впечатление.

Слухи о том, что эта группа скопцов «занимается политикой», дошли до чуткого уха якутской администрации, и в один прекрасный день «скопцы-революционеры» были арестованы. Спустя некоторое время их выслали в Колымский край, при чем двоих оставили в Средне-Колымске, четверых отправили в Верхний, а самого опасного заговорщика изолировали в Нижне-Колымске, где он и оставался до самого последнего времени. Участь верхне-колымских скопцов была ужасна. Попав в крайне тяжелые, почти невыносимые условия, они нашли достаточно сил, чтобы довести свою теорию об умерщвлении плоти до конца, и покончили с собою все одновременно, повесившись на виселицах, имевших форму креста. Таким образом, правительство отделалось от этих опасных революционеров. Один из двух скопцов, оставшихся в Средне-Колымске, умер вскоре после приезда, а другой, фанатик, каких мало, уцелел и довольно сносно устроился.

Между прочим, энергии этого скопца мы были обязаны появлением первой бани в Средне-Колымске, до тех пор составлявшей предмет наших постоянных мечтаний. В течение первых лет нашей ссылки этого важного учреждения в Средне-Колымске вовсе не было, и омовение совершалось самым примитивным способом. На полу, перед ярко пылающим камельком, устанавливалась плоская, круглая деревянная посуда (фляга из-под спирту). В нее становился моющийся, которого сверху поливал из чайника горячей водой сотоварищ. В то же время моющийся медленно поворачивался перед огнем, стараясь обогреть все тело. Вымыться, как следует, при таких условиях, конечно, было довольно мудрено, и я могу с уверенностью сказать, что до тех пор, покуда в наших краях не появилась настоящая баня, мы всегда ходили полугрязные.

Начало новой эры и было положено скопцом Умриловым. Этот гигант, всегда страдавший ревматизмом и другими болезнями, с неукротимой энергией взялся за дело и очень скоро обогатил наш город черной, отвратительной баней. Впрочем, ее существованию не суждено было долго протянуться. Грандиозное наводнение снесло с лица земли всю постройку, и упрямый старик, избрав другое место, выстроил наперекор стихиям новую превосходную баню, сразу сделавшуюся для нас источником великих наслаждений. Приблизительно раз в месяц позволяли мы себе эту невинную роскошь. Парились до самозабвенья, словно стараясь смыть с себя накопившуюся на теле за долгие годы колымскую грязь. Затем, освеженные, с раскрасневшимися лицами, отправлялись к кому-нибудь пить чай, благословляя судьбу за то, что она догадалась послать в наши края несчастного Умрилова. Маленькое было это развлечение, но и за него мы цеплялись и им дорожили, как в свое время не дорожили ни оперой ни драмой.

С хозяином бани мы были в отношениях приятельских. Покуда мы раздевались в предбаннике, у нас завязывались разговоры, главным образом, на религиозные и общественные темы. Умрилов был фанатик par excellence и смотрел на других скопцов, нарушавших заветы скопчества, как на ренегатов, с которыми не стоит иметь дело.

— Какой это скопец!..—говорил он про одного из своих бывших товарищей, который потреблял мясо, держал экономку, словом, вел вполне светский образ жизни.—Не скопец он, а отступник! Душу он свою продал за кусок мяса да бабу. Нету ему спасения!

В своих рассуждениях наш оппонент постоянно ссылался на священное писание, которое он толковал удивительно курьезно и в то же время непоследовательно. На основании священного писания он строил и свои пророчества, которыми занимался усердно и в которые верил непоколебимою верою фанатика. В тех случаях, когда эти пророчества не оправдывались и мы припирали его к стенке, у Умрилова всегда был наготове один и тот же аргумент, казавшийся ему непобедимым.



Скопец Умрилов.

— Эх, брат, ничего-то ты не знаешь. Это духовно понимать надо!

На это «духовное понимание» сваливалось решительно все, что логически не поддавалось объяснению.

— А скажите-ка, Умрилов, как это по-вашему?... Вы вот все—плоть да плоть, все время воюете с плотью, а между тем у вас постоянно и печенье и конфекты... Зачем же вы все плоти потворствуете? Ведь это противоречие.

— Так-то оно так,—отвечает, хитро улыбаясь, Умрилов,—а только это опять духовно понимать надо. Не плоть это, а дух требует. А духу-то все можно.

Умрилов занимался не одной только баней, которая давала ему кое-какие, хотя и очень скудные средства к существованию. Он сплавлял плоты, строил дома, делал деревянную посуду,

столы, табуретки, немного занимался кузнечными работами и даже ловил рыбу особым неводом, который вызывал своей оригинальной формой всеобщий смех и совершенно не оправдывал возлагавшихся на него хозяином надежд. В свободное время скопец занимался изучением евангелия или же распевал духовные песни. Я привожу отрывок одной такой песни, которую наш банщик часто выводил тоненьким, жалобным голосом, слегка приплясывая или притоптывая ногой.

.....Дорогой ты, мой сыночек,
Теперь дело за тобой.
А как жил ты, был малюткой,
Тебе писано страдать,
И во тюрьмах, и во нуждах,
И во клеточке сидеть,
И на ручках, и на ножках,
И оковушки носить.
Прошел голос во всю землю,
Что сын божий на земле,
А избранные родочки
Не хотят его познать.
Злые люди-фарисеи
По бокам его стоят,
А сын божий слезно плачет
И на крест на свой глядит,
Злых иудеев уверяет,
Хочет души их спасти.
Это люди не такие,
О них нечего тужить!
Любовь божия—святая
Ею надо дорожить.

Умрилов жил в полном одиночестве, местные жители чуждались его, и только с нами ему удавалось иногда поговорить по душе. Питался он преимущественно мукой, зеленью и рыбой, отказываясь от употребления мяса, так как это противно скопческим взглядам. Под конец своего пребывания в Средне-Колымске несчастный сильно заболел острым ревматизмом и почти не мог двигаться; но, несмотря на многочисленные прошения, которые он подавал якутскому губернатору, выехать из Колымска ему все-таки не удалось до тех пор, покуда широкая волна революционного движения в России не заставила

русское правительство, между прочим, ослабить и преследования скопцов.

Основатель этой «революционной» секты, Лихачев, вскоре после прибытия в Средне-Колымск подвергнул свои взгляды радикальному пересмотру. Этот пытливый и очень неглупый сектант не мог остановиться на уродливой, узкой точке зрения скопчества и постепенно, путем постоянных размышлений, чтения светских книг, а отчасти и благодаря разговорам с местными ссыльными, отделался от своих ложных взглядов и по некоторым вопросам довольно близко подошел к социализму.



Перевозка сена.

К сожалению, непоправимое физическое уродство, являющееся отличительным признаком скопческой секты, мешало ему проникнуться тем здоровым, жизнерадостным настроением, которое так свойственно последователям этого великого учения. Старое неотвратимым образом тянуло бывшего сектанта назад, и он все время находился на распутье.

Наконец, кроме политических ссыльных и скопцов, я должен указать еще на нескольких уголовных поселенцев, сосланных сюда за различные преступления и, главным образом, за бродяжничество. Это были обычные представители уголовной «кобылки», для которых Колымский край, в конце концов, превратился во второе отечество. Они обзаводились здесь избушками, заводили семьи, ставили кое-какое хозяйство, зани-

маясь различными ремеслами, а иногда и мелкими кражами. Местное население обязано было содержать некоторых из них на свой счет и поэтому относилось к ним довольно неприязненно. Конечно, по-своему оно было право, но и несчастные поселенцы («хайлаки») вовсе не были повинны в том неудобном положении, в которое их ставила администрация.

В общем, все эти пришлые элементы составляли сравнительно незначительную группу, которая время от времени подвергалась определенным колебаниям, то увеличиваясь, то сокращаясь. Наиболее резкие колебания происходили в численности политических ссыльных, как читатель может убедиться из списка «государственных», помещенного в конце книги.

Естественно, что колымским ссыльным приходилось приспособляться к условиям местной жизни и заимствовать многие привычки у туземцев. Сколько бы мы ни сопротивлялись такому понижению наших культурных запросов, все-таки рано или поздно приходилось подчиняться могущественной материальной среде. А для того, чтобы читатель мог понять, как низко стояла эта среда, я считаю необходимым прибавить еще несколько слов к тому описанию колымской жизни, которое я дал в предыдущих главах.

Если отвлечься от всех незначительных изменений, которые были внесены в жизнь местного края усилившимся товарным обращением за последние годы, то местное хозяйство может быть охарактеризовано, как исключительно натуральное. Почти все вещи домашнего обихода, не говоря уже о предметах потребления, производятся домашним способом и в редких случаях служат предметом торговли. Едва ли не главными покупателями в этих местах являются местные чиновники и ссыльные, которые сами почти ничего не производят, но зато, по представлениям туземцев, обладают достаточным количеством «всеобщего эквивалента». Торговля такими важными предметами потребления, как мясо, рыба, молоко, масло и проч., носит здесь совершенно случайный характер, при чем каждый из производителей является в то же время и торговцем. Вот почему местные жители выражали самое искреннее сожаление, узнав, что ссылка в здешние края в скором времени должна будет прекратиться.

— Жаль будет,—говорил мне один из обывателей,—если вас увезут совсем. Зла вы нам не делали, жить не мешали, а теперь мы и вовсе без денег останемся.

Орудия производства, которыми располагает каждый из здешних жителей, очень немногочисленны и несложны; топор, нож, сверло—вот и весь почти набор инструментов, с помощью которых местный обыватель умудряется построить себе дом, изготовить мебель, починить лодку и т. д. Ссыльные тоже постепенно привыкали к такому упрощенному modus'y vivendi. Каждый из нас обыкновенно разгуливал с якутским ножом на поясе, научался довольно сносно владеть топором и т. д. Особенно близко подошел к якутскому образу жизни один из старых ссыльных, проживавший в Верхне-Колымске, В. А. Данилов. Арестованный в конце 1887 года, он прославился своими бесконечными побегами и в Верхне-Колымск попал, уже побывав предварительно шесть раз в ссылке.

Прибыв на место поселения, Данилов предпринял целый ряд экспериментов в области своего личного и народного хозяйства. Он завел молочную ферму и поставил у себя скотоводство на такую ногу, что даже якуты, эти прирожденные скотоводы, должны были признать его превосходство над собой. У него всегда были лучшие молочные продукты, которыми он снабжал всю нашу колонию. Но этого ему было мало; он задался целью победить местных купцов-эксплоататоров и вырвать туземцев из кабалы. Для этого он вступил в сношения с представителями местных крупных торговых фирм, добился у них широкого кредита и устроил у себя, в Верхне-Колымске (в поселке «Родчево»), нечто вроде кооперативной лавки, из которой отпускал товары по самым низким ценам. Местные кулаки не могли устоять против такой энергичной конкуренции и вынуждены были значительно понизить цены на главные товары. Так, например, прежде цена за кирпич чая редко была ниже трех рублей, а после того, как здесь начал свою деятельность Данилов, эта цена понизилась до рубля с копейками. То же самое произошло с табаком, ситцами и медной посудой, этими главными предметами торговли в здешних краях.

Вращаясь постоянно среди местного населения, Данилов постепенно настолько привык к якутскому образу жизни, что

и сам, в конце концов, объякутел. Он недурно говорил по-якутски, носил якутскую одежду, орудовал ножом не хуже любого якута и даже избегал употребления железных гвоздей в домашнем обиходе, хотя значительной экономии на этом, конечно, сделать было нельзя. Так делали якуты, так делал и Данилов.

ГЛАВА XI.

Экспедиции.

Я отметил уже выше, что, даже по мнению правящих сфер, Колымский край является «местом для жительства неудобным». Отсюда ясно следует, что добровольных посетителей здесь можно было встретить чрезвычайно редко. Действительность вполне соответствует этому выводу. Если исключить местных жителей, для которых эта беспредельная тундра сделалась второй родиной и которые в своих песнях и рассказах сохранили воспоминания о лучших местах, где жили их предки,— то придется признать, что остальные пришельцы попадали сюда или против своей воли, или же если и приезжали в эти места добровольно, то лишь на очень короткий срок. К числу таких посетителей относились, главным образом, члены экспедиций, о которых я хочу сказать теперь несколько слов.

Первая экспедиция, которую я застал, приехав в Средне-Колымск, была снаряжена Сибирским отделом Географического Общества на средства известного иркутского мецената, золотопромышленника Сибирякова. В колымском отделе ее принимали участие два лица, из которых одно фигурировало в то же время в качестве колымского ссыльного; это был известный ныне писатель Тан (Богораз), пользующийся солидной репутацией в ученом мире в качестве знатока чукотского фольклора. Другим членом этой экспедиции был ссыльный Иохельсон, успевший уже отбыть свой срок в Средне-Колымске и заканчивавший курс «административного лечения» в Якутском округе, где он

успел написать небольшую монографию о местных скопцах. По предложению организатора этой экспедиции Д. А. Клеменца, тоже бывшего ссыльного (в то время правителя дел Сибирского отдела Географического Общества), он снова отправился в Колымский край, где и занялся изучением быта юкагиров и ламутов, составлением словаря и грамматики юкагирского языка. Собранных экспедицией материалов оказалось вполне достаточно, чтобы оба эти товарища по ссылке приобрели известность в ученом мире. Именно благодаря этому обстоятельству им и предложено было Американским Музеем Естественных наук взять на себя изучение северо-восточного края Сибири. Экспедиция была снаряжена на средства президента Американского Музея Jesup'a. Вся она обошлась в один миллион рублей слишком.

Экспедиция имела целью сравнительные исследования племен, живущих у берегов северной части Тихого океана, и состояла из ряда отделов, работавших как на американском, так и на азиатском материках. В Сибири работали три партии. Первая из них, с доктором Лауфером во главе, занялась изучением тунгузских племен на Амуре, гиляков и айносов на островах Сахалин и Иесо; вторая—под руководством В. Г. Богораза—отдала все свое время исследованию чукчей, камчадалов и азиатских эскимосов; наконец, третья партия В. И. Иохельсона имела задачей изучение коряков, юкагиров и тунгусов.

Последняя партия выехала из Петербурга в декабре 1889 г. и прибыла через Нью-Иорк, Сан-Франциско и Японию в селенье Гижигинск, расположенное в устье реки Гижиги, на Охотском море. Условия, в которые попала партия г. Иохельсона, сразу сложились крайне неблагоприятно. Незадолго до его приезда в этих местах свирепствовала эпидемия кори, выкосившая почти половину населения. Первая же поездка экспедиционеров из Гижиги к оседлым корякам далась им с большим трудом. В течение осеннего времени передвижение по северным тундрам возможно только на вьючных лошадях, а каковы условия такого путешествия, можно себе представить по тому факту, что, например, на переход в 150 верст от селения Гижигинск до коряцкого селения «Парень», у залива Пенжинского, партия Иохельсона затратила восемнадцать дней; в середине пути Иохельсон со своими спутниками отбился от каравана, заплутался в бесконеч-

ных болотах и два дня пробыл без еды. У перевала, отделяющего систему реки Гижиги от системы реки Парень, экспедицию захватила пурга, продержавшая их безвыходно четыре дня в палатке; отавы для лошадей экспедиции (а их было не менее 25) не оказалось, и несчастные животные отощали до такой степени, что, когда экспедиция захотела снова двинуться в путь, они не могли взять на себя груз. В скором времени из всего состава вьючного скота двенадцать голов пало. Вторую половину зимы 1900 г. и первые зимние месяцы 1901 г. Иохельсон вместе со своей женой, исполнявшей обязанности врача и в то же время зани-



Колымский дом зимою.

мавшейся антропологическими исследованиями, провели в подземных домах у приморских коряков, а отсюда перебрались к оленным корякам, поселившись в их кожаных палатках. Разъезды по селениям оседлых и стойбищам оленных коряков совершались на собаках или на оленях. Закончив здесь необходимые работы, они уже летом отправились из Гижигинска к верховьям реки Колымы по новой, совершенно неисследованной до тех пор дороге.

«Эта дорога,—пишет в своем отчете Американскому Музею Иохельсон [1]),—была наиболее трудная из всех, какие мне когда-

---

[1]) См. The Iesup North Pacific Expedition. Vol. III, Number 5, 1903. The American Museum Journal, p. 107.

либо приходилось испытывать. Бурные реки, горные ручьи, озера, обширные болота, скалы, девственные леса,—все это как будто нарочно соединилось для того, чтобы всячески препятствовать нашему движению вперед. Сильные дожди, преследовавшие нас в течение первых дней пути, привели нашу провизию в совершенно негодное состояние; мы должны были бросить почти все запасы сухарей и копченой рыбы (юкалы) и, таким образом, с самого же начала были вынуждены сократить до минимума ежедневные порции как для себя, так и для экспедиционной прислуги. Перевалив через Становой хребет, мы, наконец, достигли верхних истоков притока реки Колымы, Коркодона; но к этому времени лошади оказались до того истощенными, что нам пришлось остановиться здесь на несколько дней, для того, чтобы дать им отдохнуть. А, между тем, холод с каждым днем настолько усиливался, что нам необходимо было спешить, так как иначе мы не смогли бы во-время доехать до Верхне-Колымска, и зима захватила бы нас в пустыне. Поэтому я решил оставить лошадей с грузом под присмотром трех якутов и спуститься по Коркодону на плоту до первого юкагирского селения. Работы по постройке этого плота заняли один день, а затем мы спустились по реке, представлявшей много опасностей для плавания своими порогами, скалистыми выступами, крутыми поворотами и кучами плавника, загромождавшими дно на значительных расстояниях. Наш проводник уверял нас, что в два дня мы сможем доехать таким путем до юкагирского селения, но вместо того нам пришлось провести на плоту целых девять дней. Так как я хотел выделить для якутов, оставшихся с лошадьми, как можно более провизии, то забрал с собой провианта только на три дня с расчетом, что его будет вполне достаточно на шесть человек. Таким образом, трехдневного порциона должно было теперь хватить на девять дней, и за последние дни мы располагали всего 45 фунтами муки, т.-е. по две чашки в день на человека. Из этой муки мы делали лепешки и пекли их на рожнах перед огнем. У юкагиров на Коркодоне мы провели четыре дня. Здесь мы запаслись рыбой и снова продолжали свой путь, но уже в лодке местного производства.

«С седьмого на восьмой день нашего путешествия река сразу стала. В это время мы находились в 45 верстах

от Верхне-Колымска. Оставив свою лодку, мы отправились без пищи и без вещей пешком в Верхне-Колымск и после невероятных усилий добрались до него через два дня, 9 октября 1902 г.».

24 декабря эта экспедиция прибыла в Средне-Колымск. Трудно передать тот бурный восторг, с которым мы приветствовали появление новых, свежих людей. Все мы так устали от вынужденного безделья, так нуждались в новых впечатлениях, что подоспевшая экспедиция вызвала полный переворот в нашей однообразной, стереотипной жизни и надолго выбила нас из колеи. Дом, в котором поселился Иохельсон с женой, сразу превратился в своего рода научную академию и вместе с тем в салон. Обыкновенно все члены колонии, свободные от обычных занятий, проводили здесь почти все свое время. Одни занимались проявлением бесчисленных фотографических пластинок и печатанием снимков; другие готовили препараты, заделывали птиц и маленьких зверьков (мышей, летяг, горностаев и пр.) в металлические банки со спиртом; третьи упаковывали богатые коллекции экспедиции в деревянные ящики; четвертые помогали производить антропологические измерения,—словом, каждый из нас старался так или иначе использовать наиболее продуктивно свою энергию, до тех пор, к сожалению, почти не находившую никакого применения в этих гиблых местах. День проходил быстро, а вечером мы отдыхали, устраивая ежедневно импровизированные вечеринки. Американский фонограф, служивший обычно для записывания инородческих песен и сказок, на это время отказывался от своей научной деятельности и легкомысленнейшим образом распевал всевозможные романсы или оперные арии, набор которых предусмотрительная экспедиция возила постоянно с собой; иногда устраивались танцы, пели хором, и вечеринка заканчивалась вполне европейским ужином, состоявшим из превосходных консервов, фруктов и других деликатесов, о которых мы успели уже давным давно позабыть.

Две недели, в течение которых экспедиция успела закончить все свои дела, пролетели как одно мгновение. 6 января 1902 г. экспедиция выехала в Нижне-Колымск, а оттуда к тундренным юкагирам на запад от реки Колымы, 15 февраля

наши путешественники вернулись обратно, а 6 марта навсегда покинули наш жалкий, унылый край. Спустя несколько месяцев экспедиция благополучно прибыла к месту своего отправления, в Нью-Иорк.

Поставленная на широкую ногу, она—как и можно было ожидать—дала блестящие результаты [1]). Обширная территория, принадлежащая России, впервые была тщательно исследована на американские деньги государственными преступниками. Можно ясно себе представить, как обогатилась бы современная наука, если бы последним была предоставлена широкая возможность заниматься изучением местного края; а между тем Богораз и Иохельсон лишь за последние годы ссылки получили возможность заниматься научной работой; до этого времени им приходилось влачить обычную бездеятельную жизнь всех ссыльных и тратить, таким образом, свои способности, всю свою энергию на такие занятия, которые с наукой ничего общего не имели: ловлю рыбы, рубку леса и т. д.

Пусть, однако, читатель не думает, что, раз дорвавшись до научной деятельности, эти люди получили полную возможность предаваться ей без всяких помех со стороны одичавшей администрации. Нет! И тут вездесущая рука реакционного правительства нагромождала на их пути всевозможные преграды, пора-

---

[1]) Я думаю, что читатель не посетует, если я приведу здесь эти результаты в цифрах. Материалы, собранные г. Иохельсоном, состоят из 2.000 предметов зоологической коллекции, 3.000 этнографических предметов, 45 гипсовых масок с инородцев, 900 измерений мужчин и женщин различных племен, 1.500 фотографий, 150 текстов, 100 фонограмм... Кроме того, экспедиция собирала черепа и различные археологические предметы во время раскопок древних жилищ коряков и вела подробные метеорологические наблюдения, постоянный маршрут и т. д. Экспедиция г. Богораза дала также очень богатые результаты: 5.000 этнографических предметов, 800 антропологических измерений, 300 текстов, 95 фонограмм, 75 черепов и т. д. Кроме того, оба экспедиционера собрали громадные материалы для составления словарей и грамматик чукотского, эскимосского, камчадальского, коряцкого и юкагирского языков. В настоящее время собранные материалы обрабатываются членами экспедиции; из 12 томов трудов экспедиции четыре тома принадлежат работам Богораза и Иохельсона. Из них два тома уже появились в свет (монографии о чукчах и коряках).

жавшие нас своей бесцельностью, бессмысленной ненавистью ко всему, что выходит за пределы циркуляра. Когда Иохельсон и Богораз выезжали из Петербурга, им были выданы из министерства внутренних дел особые открытые листы нижеследующей формы:

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ.

По указу его величества государя императора Николая Александровича, самодержца всероссийского и проч., и проч., и проч.

Предписывается местам и лицам, подведомственным министерству внутренних дел, оказывать предъявителю сего всякое законное содействие к исполнению возложенных на него поручений.

Дан сей лист Владимиру Германовичу Богоразу (в № 18603 сказано: Владимиру Ильичу Иохельсону), отправляющемуся в составе экспедиции Нью-Иоркского Музея Естественных Наук на крайний северо-запад Америки и северо-восток Азии для исследования инородцев—чукчей, коряков и юкагиров и составления этнографических коллекций для музея императорской Академии Наук, за подписанием моим и с приложением казенной печати.

В Санктпетербурге, ноября 17-го дня 1899 года.
(Следуют подписи министра вн. д. Сипягина и Трепова.)

Казалось бы, что такого документа было вполне достаточно, чтобы экспедиция действительно не встречала в своих работах никаких помех, кроме чисто стихийных, которыми, как читатель видел раньше, Колымский край слишком даже богат. А между тем с первых же шагов экспедиционеры почувствовали, что кто-то им систематически мешает. Этот таинственный «кто-то», как оказалось впоследствии, был тот же Сипягин, который так любезно снабдил наших путешественников открытыми листами по просьбе императорской Академии Наук и Географического Общества. Сейчас же после выдачи этих листов Иохельсону и Богоразу находчивый министр отправил тем же самым сибирским властям конфиденциальное послание, содержание которого совершенно ясно проявилось в следующем циркуляре якутского губернатора.

Секретно.

М. В. Д.

Якутский Губернатор
по Областн. Прав.

Отделение I.
Стол I секретный
28-го апреля 1900 г.
№ 355.

Исправникам Якутской области
циркулярно.

Г. Иркутский военный генерал-губернатор, согласно конфиденциального письма г. министра внутренних дел от 19-го февраля с. г., предложением от 20-го марта за № 2079 просил меня сделать распоряжение об учреждении негласного надзора за деятельностью бывших административных ссыльных Владимира Богораза и Владимира Иохельсона, предполагающих прибыть летом с. г. в Приморскую и Якутскую область в составе экспедиции Нью-Иоркского Музея Естественных Наук для собирания коллекций и исследования быта проживающих на крайнем северо-востоке Сибири инородцев, присовокупив, что, в виду прежней противоправительственной деятельности Богораза и Иохельсона, оказание им какого-либо содействия по возложенным на них ученым трудам представляется совершенно несоответственным. Давая о сем знать, предлагаю сделать распоряжение об учреждении за деятельностью и сношениями означенных лиц негласное наблюдение и о последующем донести.

Вице-губернатор Миллер.
Советник Метус.
Столоначальник Бакерт.

Нужно ли прибавлять, что этот тайный циркуляр оказался гораздо действительнее «открытых листов». Просьба Богораза о провозе его из Владивостока на казенном пароходе на Чукотский Нос, куда частные русские пароходы не ходят, была приамурским генерал-губернатором отклонена. Точно так же колымский исправник отказал Иохельсону, когда последний просил его откомандировать казака, владеющего якутским языком, в качестве переводчика, и принял меры, к счастью для экспедиции запоздавшие, чтобы Иохельсон не мог подрядить лоша-

дей для переезда из Гижигинска на реку Колыму и т. д... (См. «Освобождение», 1903 г., № 15).

Таким образом, на крайнем северо-востоке, вдали от всего цивилизованного мира, в пустынных тундренных местах, не видевших до сих пор ни одного цивилизованного человека, завязался трагикомический поединок между наукой и полицейским циркуляром. К счастью для экспедиции, инородцы, знавшие Иохельсона еще по Сибиряковской экспедиции, отнеслись к нему более благосклонно, чем министерство внутренних дел,



Езда на собаках.

и только благодаря этому злополучный экспедиционер получил возможность выйти с честью из этой неравной борьбы.

Было бы, однако, большой ошибкой думать, будто русское правительство вообще против науки. Вовсе нет! Оно только требует от представителей ее лойяльности в прошлом, настоящем и будущем; а в остальном оно готово предоставить им всевозможные «законные» удобства.

По крайней мере, другая экспедиция, посетившая наши места в 1903 г., была поставлена в неизмеримо лучшие условия, и на этот раз вместе с предписанием от императорской Академии Наук никаких секретных циркуляров из министерства внутренних дел уже не последовало.

Весною 1902 г. один из охотников-ламутов, бродивший по берегам Березовки, которая впадает в реку Колыму, заметил

в обтаявшей круче берега пару мамонтовых клыков. Надо знать, что местное население усиленно занимается разысканием мамонтовой «кости», так как местные купцы скупают ее по 15 рублей за пуд. Выкапывая драгоценные клыки, ламут заметил, что они принадлежат вполне сохранившемуся мамонту, глубоко засевшему в вечно мерзлой земле. Тогда он вспомнил, что исправник обещал 300 рублей награды тому, кто найдет такое редкостное чудовище. Счастливец немедленно сообщил о своей важной находке одному из казаков, живших на ближайшей заимке; казак немедленно передал это известие в город, отсюда сейчас же был отправлен нарочный в Якутск, а оттуда по телеграфу обо всем этом было сообщено в Петербург. Спустя короткое время, из Петербурга выехала в Средне-Колымск экспедиция Герца, Фитценмайера и студента-геолога Севастьянова, задачей которых было вывезти мамонта целиком с берегов Березовки. Во главе экспедиции стоял ученый немец Герц, лойяльность которого стояла вне всяких сомнений. Это был «свой» человек, и министерство внутренних дел вполне благосклонно отнеслось к этому научному предприятию. Для нас эта экспедиция была совершенно безразличной: она не внесла никакого оживления в нашу среду, так как участники ее стояли слишком далеко и по своим взглядам, и по своим привычкам от всей нашей колонии.

Не теряя дорогого времени, экспедиция немедленно отправилась к мамонту, выстроила над ним большой деревянный балаган и отбивая мерзлую землю кусок за куском, в течение короткого времени совершенно обнажила задохнувшегося гиганта. Он сохранился удивительно: мясо, кожа, даже пища в желудке и застрявшие кусочки мха и травы на зубах,—все это имело такой свежий вид, как будто мамонт погиб лишь очень недавно. Гиганта разобрали на части, заделали в обшивку из коровьей кожи и отправили в Иркутск, где его ожидал специальный поезд-ледник. Теперь этот заполярный гигант, совершивший путешествие в 15.000 верст слишком, украшает своей особой громадный зал Зоологического музея в Петербурге.

Кроме этих двух научных экспедиций, посетивших Колымский край в течение десяти лет, проведенных мною там, я считаю необходимым отметить еще и третью, отличавшуюся своим

легкомысленным и в значительной степени спекулятивным характером. Я говорю об экспедиции известного путешественника англичанина Гарри-де-Виндта, которая прибыла в Средне-Колымск весною 1902 г. Цель этой экспедиции была настолько же оригинальна, насколько и фанстастична. По уверениям начальника экспедиции и его помощника виконта Кленшана-де-Бельгара, воспитанника иезуитской школы, она была отправлена, американским синдикатом, задумавшим провести железную дорогу через всю Северную Америку, Берингов пролив и Колымский край по направлению к Якутску. Так как построить мост через Берингов пролив нет никакой возможности, то эта Трансаляскинская железнодорожная компания задумала будто бы провести в этом месте подводный тоннель. Всякий, кто побывал в этих краях, мог отнестись к этой фантастической болтовне только с улыбкой; но, очевидно, кое-где и на этот раз, должно быть в высших сферах, эти полярные Тартарены успели таки кому-то втереть очки. Так или иначе, но наши путешественники заручились необходимыми открытыми листами, и в одно прекрасное утро появились в наших краях. И что всего курьезнее,—та самая администрация, которая ставила всевозможные препятствия экспедиции Богораза и Иохельсона, окружила всевозможными удобствами эту компанию газетных болтунов, путешествие которых всею тяжестью легло на плечи и без того разоренного местного населения. Я считаю интересным здесь же отметить, что Гарри-де-Виндт захватил в качестве проводника из Якутска казака Расторгуева, чрезвычайно опытного и расторопного человека, который уже был откомандирован в помощь экспедиции Толля в Усть-Янске. Как мне передавали, барон Толль благодаря этому остался без надежного проводника, попал в безвыходное положение и погиб. Впрочем, такие административные кунстштюки в России в большом ходу, и особенно изумляться им не приходится.

Гарри-де-Виндт ехал с большим треском и помпой. Впереди мчался специальный «нарочный», заготовлявший на станциях свежих оленей. По дороге среди местного населения разнесся даже слух, будто в Средне-Колымск едет «высочайший родственник»; и несчастные доверчивые якуты выбивались из сил, загоняли лошадей и оленей, только бы заслужить похвалу

начальства. Эта дутая экспедиция была наряжена на средства нескольких французских, английских и американских газет. Я не думаю, чтобы у организаторов ее действительно была мысль осуществить это химерическое предприятие. Очевидно, здесь дело шло о простой спекуляции, которыми так богат современный капиталистический мир. Несколько биржевиков составили дутую компанию и выпустили акции. Для того чтобы разжечь аппетиты публики, они решили снарядить экспедицию, якобы для специальных разведок, которые должны были подтвердить осуществимость этого предприятия. Конечно, во всем этом ничего серьезного не было, но весьма возможно, что фантастические отчеты путешественников сделали свое дело, и не мало доверчивых жертв поплатилось за это своими карманами. Я хорошо помню до сих пор виньетку, которой были украшены листки почтовой бумаги, служившей экспедиционерам для корреспонденции. Наверху жирным шрифтом было обозначено «Trans-Alaskan Rail-Road Company», затем шел перечень учредителей компании, директоров и секретарей; посередине красовалась картинка, изображавшая крайние пункты американского и азиатского материков с поездами на каждом, а через Берингов пролив плывет какой-то странный паром, который, очевидно, должен был на первых порах заменить подземный тоннель. Эта виньетка была, конечно, тоже предназначена для пускания пыли в глаза доверчивой публике, которая вообще проявляет большую склонность к такого рода грубым приманкам и очень легко попадается на удочку.

Пробыв несколько дней в Средне-Колымске, Гарри-де-Виндт отправился дальше на собаках к Берингову проливу, где экспедицию взял к себе на борт американский пароход. Мне достоверно известно, что эта экспедиция всячески уклонялась от платежей за проезд; а так как местная администрация, благодаря предписанию свыше, относилась к Гарри-де-Виндту весьма покровительственно, то и вышло в конце концов так, что за все это оригинальное путешествие заплатили из своего кармана местные жители.

Мой рассказ о случайных пришельцах, время от времени появлявшихся в нашем диком краю, был бы неполон, если бы я не упомянул еще об одном оригинальном путешественнике,

попавшем сюда совершенно случайно. Это был молодой, рослый немец, по фамилии, если мне не изменяет память, Берг. Судя по его рассказам, сделался он путешественником по совершенно случайному поводу. Как-то раз он побился об заклад со своими приятелями в Берлине, заявив, что берется обойти вокруг земного шара пешком, добывая средства к жизни в пути. Пари в десяток тысяч марок было принято, и на следующий же день отчаянный немец с несколькими марками в кармане отправился в дорогу. Само собой разумеется, что в самом начале путешествия пари было им проиграно. Но наш путешественник не унывал;



Колымский фотограф.

он все-таки продолжал свое путешествие, рассчитывая, что впоследствии составлением книги, чтением лекций и пр. он сможет легко не только покрыть проигранное пари, но и создать себе громкую славу. В Иркутск он попал уже в то время, когда русско-японская война была в полном разгаре. Таким образом, дальнейший маршрут его естественно должен был резко измениться. До этого времени он надеялся попасть в Японию и отсюда переправиться в Сан-Франциско; теперь же ему пришлось направиться через Якутск и Верхоянск в Средне-Колымск, а оттуда к Берингову проливу. Возил он с собою маленький саквояж с переменой платья и белья, револьвер и дюжину-другую своих фотографических карточек. Эти карточки он продавал

в пути богатым любителям всевозможных сенсационных новинок и таким образом добывал себе кое-какие средства. Конечно, нескольких жалких рублей, которые он выручал от продажи своих изображений, было ему совершенно недостаточно; но его выручала во всех затруднительных случаях полнейшая бесцеремонность, с которой он пользовался всевозможными благами совершенно безвозмездно. Он действовал всюду с удивительным нахальством, жил у кого хотел и сколько ему было нужно, набивая карманы и саквояж всем, что в данный момент ему казалось необходимым. Если вы угощали его папиросой, он никогда не ограничивался одной, а набивал ими полный портсигар; если ему нужна была какая-нибудь вещь, он бесцеремонно выклянчивал ее до тех пор, покуда владелец не уступал ему этой вещи, конечно, в виде подарка. Во всех его отношениях к обывателям сквозило какое-то пренебрежение, столь характерное для человека, считающего себя принадлежащим к высшей расе. Повсюду он вел себя как завоеватель, как германский колонизатор среди какого-нибудь африканского племени. Нужно ли прибавлять, что и этот авантюрист пользовался поддержкой со стороны местной администрации, которую он интересовал, конечно, гораздо больше, чем какая-нибудь научная экспедиция? Ведь лойяльность этого субъекта стояла вне всякого сомнения, и даже местные жители были поражены, когда увидали в какой-то табельный день этого путешественника в церкви, молящегося на коленях во время молебна.

Каким содержанием впоследствии наполнил этот авантюрист свои корреспонденции и лекции, догадаться, конечно, не трудно. Он не знал ни слова по-русски, ко всему относился чрезвычайно поверхностно, и вряд ли его читатели и слушатели получат мало-мальски ясное представление о том, что он видел и слышал в пути. Прожив около месяца в Средне-Колымске и надоев всем своей безграничной бесцеремонностью, путешественник-авантюрист отправился дальше к Берингову проливу, при чем несчастные обыватели вынуждены были опять таки везти его даром.

ГЛАВА XII.

Возвращение.

Время шло. Один за другим уходили лучшие годы нашей жизни среди мелких будничных забот и бесцельного прозябания, полуголодного и гнетущего; связь с невольно покинутым миром как-то незаметно и в то же время болезненно рвалась; из памяти исчезали черты друзей и родных, забывались их голос и смех. Только воспоминания о прошлом, охватывавшие усталую душу всякий раз, когда местная жизнь слишком надоела и переставала занимать, как-то странно фиксировались и сохранялись во всех деталях. Это был особый мирок, куда каждый из нас совершал экскурсии, желая хоть чем-нибудь освежить истомленные нервы. Впоследствии, когда я вернулся на родину, родные и друзья удивлялись, до каких подробностей я помнил о различных предметах и фактах, которые давным-давно успели исчезнуть из их памяти. А между тем, в этом не было ничего удивительного. В Колымске было так мало зрительных, слуховых и иных впечатлений, что нам невольно приходилось искать суррогатов в воспоминаниях о прошлом; а так как эти воспоминания охватывали сравнительно узкий круг жизни, то и запечатлевались они путем бесконечных повторений в мозгу очень крепко, словно выгравированные резцом времени на стальной доске.

Отмечу несколько моментов в моей колымской жизни, прекрасно показывающих, как мы, несмотря на долговременное пребывание в ссылке и несмотря на полную неизвестность, стоявшую перед нами,—в сущности, мало привыкали к этой новой,

непривычной обстановке, и с какой непреодолимой силой, всем существом, всеми помыслами мы тянулись к своим далеким, родным краям.

Помню, был прелестный весенний день, когда я спокойно, задумавшись о чем-то, бродил по городу, уже поросшему свежей, молодой травой. Дорог, обычных в России, в Колымске нет, так как летом там ездят только верхом или на лодках, и на весь город в то время имелась лишь пара колес, сделанных каким-то поселенцем и валявшаяся без дела в амбаре. Один из обывателей, отличавшийся предприимчивостью, вздумал воспользоваться техническими познаниями этого поселенца и устроил настоящую тележку на четырех колесах. Для колымчан это была любопытная новинка, долгое время привлекавшая к себе внимание жителей. На этой тележке предприимчивый новатор перевозил товары с паузков, приплывших с первой водой, в магазины, расположенные внутри города. Колеса тележки проложили в девственной почве Средне-Колымска ряд глубоких колей, на которые я и наткнулся во время своей прогулки. Трудно описать то странное, стихийное чувство, которое овладело мной при виде этих глубоких борозд. На одно мгновенье, короткое, но полное самой жгучей беспредметной радости, меня охватила мысль, что мое пребывание в Колымске лишь скверный сон, тяжелый кошмар, неожиданно закончившийся, и что я снова очутился у себя в степи за городом. Эта иллюзия продолжалась не более секунды-другой; но целую жизнь пережил я в эти короткие мгновенья; мне показалось, что я слышу вокруг себя голос настоящей жизни, зовущей к свободному, независимому бытию. Затем я очнулся, тупо посмотрел на эти жалкие лачужки без крыш, на эти словно заморенные, чахлые кустарники, окружавшие кладбище... и измученный, разбитый пережитым мгновеньем, направился домой.

В другой раз иллюзия сыграла надо мной еще более жестокую шутку. Был ледоход. Всю ночь напролет я любовался этой грандиозной картиной пробуждения реки, а утром, утомленный однообразным шипеньем, треском и звоном ломающихся льдин, забрался в свою комнату и прилег на кровать. Вскоре сладостная дрема охватила меня, и мысль, освобожденная от тисков действительности, заработала в привычном направле-

нии.—Теперь 1902 г., мой срок кончается весною 1905 г. От 1902 по 1903—г.; от 1903 по 1904—два года; от 1904 по 1905—три года... Чорт возьми! Как безумный соскакиваю я с кровати, а через минуту с ускоренно бьющимся сердцем бегу по улице к соседу-товарищу. Очевидно, мой вид был довольно необычен, так как товарищ посмотрел на меня с недоумением.



Группа колымских ссыльных.

— Слушайте,—проговорил я, даже не здороваясь с ним,—каким же образом мы все время считали, что мне остается четыре года, когда в действительности остается только три?

Товарищ еще больше выпучил на меня глаза. Задыхаясь от волнения и путаясь в цифрах, я начал снова производить подсчет, и снова в итоге получилось три года.

— Позвольте,—сказал мне сосед, и на умном, выразительном лице его мелькнула какая-то сочувственная, жалеющая улыбка,—все это так, и ваш подсчет совершенно верен, но вы упустили из виду только одно: ведь теперь не 1902, а только

1901 год, и, значит, вам все-таки до конца срока остается еще четыре года.

Он не успел проговорить еще этих слов, как я почувствовал, что во мне словно что-то оборвалось. Я тихо встал, взял шляпу и, не попрощавшись, ушел, а через несколько минут уже спал на своей кровати мертвым, тяжелым сном.

Время шло. Одни уезжали, другие занимали их место... Уже первые годы ссылки начинали постепенно тускнеть в моей памяти и сливаться с тем временем, когда я жил на свободе; и вместе с тем приближавшийся конец уходил от меня все дальше и дальше, словно кто-то насмешливой рукой потихоньку отодвигал его, дразня и издеваясь над смутно тлевшей надеждой. Плохо как-то верилось, что через какой-нибудь год-другой наступит, наконец, минута, когда тебе скажут: «Ты свободен. Поезжай, куда хочешь». И на-ряду с этой искрой надежды в душе зарождались новые чувства, тяжелые и мучительные. То временами казалось, что сила сопротивляемости окончательно истощается и что как раз на последний год ее не хватит; то в голову приходила назойливая мысль о том, что за эти десять лет жизнь ушла так далеко, что, вернувшись в нее обратно, уже трудно будет нащупать ее пульс и пойти с молодым поколением нога в ногу. А с воли доносился к нам ропот пробуждавшегося житейского моря, и время от времени волнами его на наш суровый, холодный берег выбрасывались обломки разрушенных кружков, организаций, партий, по которым мы могли отчасти судить о том, что̀ делается на воле.

Сначала в Якутскую область нахлынула масса студентов, высланных сюда за участие в студенческих беспорядках 1903 г. Это была крепкая, жизнерадостная молодежь, полная веры в себя и в будущее России. Она шла в Сибирь не как на Голгофу, а как на приятную, кратковременную прогулку, с красными флагами, революционными песнями, горячими и страстными речами. Следом за ней в наши края потянулись длинной вереницей одна за другою политические партии, состоявшие в значительной степени из пролетариев. Это была масса, по стихийной неоформленности своей резко отличавшаяся от тех одиночек-интеллигентов, которые до сих пор почти исключительно населяли места столь и не столь отдаленные. По всем

признакам, по всему настроению, которое они с собою принесли, было ясно, что период одиночной подпольной работы закончился и что Россия вступила в новую стадию своего развития, период массового движения. Это был конгломерат людей, захваченных во время манифестаций, митингов, забастовок и других массовых выступлений, захваченных без разбора и выброшенных в Сибирь огромной волной; конгломерат, включавший в себе элементы самые разнородные по своему развитию, стремлениям, национальностям и составленный по правилу: «вали все в кучу, после разберем!» Старые, я сказал бы, аристократические тра-



Езда на оленях.

диции ссылки как-то съежились и потускнели перед этой широкой демократической волной, привыкшей брать все напором массы и неизменно опускавшейся, как только почва для этого массового выступления исчезала. Я помню, как в первые дни нашей ссылки нам трудно было приспособиться к мировоззрению и привычкам старых ссыльных, адептов Бакунина, Лаврова и Михайловского, некогда сражавшихся в рядах народничества и «Народной Воли». По своим взглядам мы примыкали к той социологической школе, которая в основу свою клала борьбу классов и массовым общественным силам отводила главную роль. И все-таки по своему социальному положению мы оставались одиночками, а та масса, на которую мы хотели опереться, была еще инертна и неподвижна. Прошло 10 лет, и мы столкнулись

лицом к лицу с этой проснувшейся массой и поняли, что слиться с ней, проникнуться ее настроением гораздо легче было в теории, чем на практике. Ясно было, что только там, на воле, можно пережить этот болезненный процесс сближения и слияния с тем самым народом, во имя интересов которого пришлось беспощадной рукой вычеркнуть из своей жизни лучшие годы.

Мне оставалось еще дотянуть последний год, когда мы получили известие из Якутска о том, что в наши края направляется большая партия молодежи. Нас было в то время всего только пять человек в Среднем, один в Нижнем и двое в Верхнем-Колымске. Одно время мы не без основания рассчитывали, что нами ссылка в этот гиблый край и закончится. Как раз тогда, под влиянием разгрома на полях Манчжурии, административный гнет как-то ослабел и притупился, и это давало нам повод думать, что в России наступает настоящая весна, которая неизбежно, хотя бы одним краешком, коснется и Сибири. Но эти расчеты не оправдались; и в то время, как японцы избивали русских в Манчжурии, наши власти одерживали одну за другой кровавые победы над партиями «политиков», тянувшихся бесконечной вереницей в места не столь отдаленные и просто отдаленные. Как раз в это время в Якутске произошла знаменитая «Романовская история», завершившая ряд бесчеловечных репрессий, с помощью которых правительство предполагало обуздать революционную массу ссыльных, готовых на все и живших неизрасходованной энергией минувших боевых выступлений.

«Романовская история» вспыхнула отчасти из-за того же проклятого Колымска. Товарищи знали хорошо, что ждет их в этой могиле, и перед отправлением туда выставили ряд вполне естественных, законных и разумных требований, отказавшись ехать до тех пор, покуда они не будут удовлетворены. А для того, чтобы заставить администрацию прислушаться к этим требованиям, они забаррикадировались в доме якута Романова, устроив, таким образом, нечто вроде Порт-Артура. Нужно отдать справедливость героической храбрости и боевой решимости якутского воинства. В течение нескольких дней осаждала военная сила, состоявшая из местных казаков и солдат, этот жалкий особняк с полусотней засевших в нем бунтовщиков. Сотни пуль были выпущены по этой живой мишени..., и в конце концов

правительственная армия одержала победу, потеряв двоих убитыми. Со стороны осажденных погиб один, а остальные преданы были суду и осуждены на 12-летнюю каторгу. К сожалению, я не могу в настоящее время заняться сравнительным изложением этой истории и «Якутской бойни» 1889 г., а между тем это сравнение могло бы вскрыть ряд очень интересных и глубоких различий между настроением и поведением ссылки в старое и новое время. Тот, кто интересуется историей «Романовской осады», может познакомиться с ней из обстоятельной



Группа ссыльных гор. Ср.-Колымска.

книги Теплова (издание Глаголева, СПБ. 1906 г.), где эта история излагается во всех деталях.

Вести об этой бойне дошли и до Колымска. Я не решаюсь в настоящее время коснуться тех планов, которые разрабатывались у нас под влиянием этих известий. И старики и молодые, прибывшие в значительном количестве в Средне - Колымск за последний год, были одинаково взбудоражены этой историей и немедленно отправили якутской администрации резкий, вызывающий протест, подписанный всеми членами колонии. Однако, якутские власти на этот протест не реагировали. Им было не до Колымска, так как они не знали, что поделать и с якутской ссылкой.

Прошло несколько месяцев, и однажды (это было в декабре 1904 г.) в Колымск прибыла почта, в баулах которой были скрыты

чрезвычайно важные для нас официальные бумаги. Я помню, мы все по обыкновению собрались в нашем центральном клубе (в библиотеке), ожидая, покуда придет наш делегат с почты, который должен был принести газеты, письма, книги и разрешить наше тревожное, выжидательное настроение. Прошел томительный час, и делегат ворвался в комнату с криком: такой-то и такой-то освобождаются по амнистии! В числе названных фамилий была и моя. Я сразу почувствовал, как кровь отлила от моего сердца, как задрожали мои руки и как внутри меня какой-то облегченный и взволнованный голос произнес: «наконец-то!» Через несколько минут я был у исправника, с которым отношения у нас за последнее время сильно испортились под влиянием мятежного духа, охватившего даже Колымск.

Не успел я подойти к зеленому столу, за которым сидел представитель колымской власти, как он торопливо произнес:

— Вот вы теперь освобождены по амнистии и можете ехать...

— А скажите, пожалуйста,—спросил я,—получили ли вы бумагу, по которой ссыльным разрешается уезжать из Колымска за три-четыре месяца до окончания срока, в виду продолжительности обратного пути?

Это было одно из наших постоянных требований, которые мы настойчиво выставляли в течение долгого времени. Дело в том, что по отношению к колымчанам и верхоянцам была издавна установлена вопиющая несправедливость. Отбыв свой срок полностью, они должны были затем тратить еще несколько месяцев на обратный путь, т.-е. на путешествие, которое по трудности своей могло бы для всякого культурного человека сойти за особое наказание. А между тем лица, ссылавшиеся, скажем, в Иркутск, где они отбывали ссылку при гораздо более благоприятных условиях, возвращались на родину через каких-нибудь 12—15 дней. Но до тех пор наши протесты не приводили решительно ни к чему.

— Да, это верно: такую бумагу я только что получил.

— Но позвольте,—заметил я,—в таком случае, зачем мне ваша амнистия? Ведь я все равно имею право уехать, так как мне до окончания срока осталось как раз столько, сколько нужно на дорогу.

— Ну, как хотите,—отвечал исправник,—мое дело было вас предупредить.

Обстоятельства сложились так, что я не мог немедленно выехать из Колымска и должен был пробыть здесь лишних три недели. Я сразу же заявил об этом исправнику и возбудил в нем своим заявлением недовольство.

— Вот не разберешь вас,—проговорил он ворчливо,—то рветесь и бунтуетесь из-за каждой минуты, а то устраиваете всякие отсрочки.

Тут мне в голову пришла забавная мысль подшутить над ним.

— Я потому и заговорил с вами об отсрочке, что дело несколько осложняется вопросом о черте оседлости...

Не успел я произнести этих магических слов, как исправник вдруг заволновался, ударил себя ладонью по лбу и суровым, официальным тоном проговорил: «В самом деле, по закону вы не имеете права оставаться здесь более 24 часов. Не угодно ли вам собраться и ехать в черту оседлости?»

Затем он нагнулся ко мне и шопотом произнес: «Я, видите ли, ничего собственно не имею, но дело в том, что»..., и он, повел глазами по направлению к соседней комнате, где работало несколько писцов, среди которых один выделялся своей склонностью к доносам.

Я сразу понял исправника и умышленно громко, сухим официальным тоном заявил ему: «Делайте, как хотите, а я предупреждаю вас, что раньше, чем через три недели, я отсюда не уеду!» [1]).

---

[1]) К слову сказать,—местное население не делает никакой разницы между евреями и русскими и даже не знает, чем первые отличаются от последних. Одна из колымчанок как-то сообщила мне, что, по ее мнению, евреи отличаются от русских цветом волос; все евреи рыжие, а русские черные. Тщетно я доказывал ей, что и среди евреев есть много черных, и ссылался при этом на конкретные примеры; она категорически отказывалась мне верить и даже в конце концов обиделась, полагая, что я над ней подтруниваю. Пропагандой юдофобства здесь занимаются, главным образом, попы. Весьма возможно, что с течением времени им удастся заразить этим ядом местных жителей и тогда, пожалуй, «Новое Время» сможет с гордостью заявить, что даже в таких глухих местах, как Средне-Колымск, население терпеть не может «жидов».

А в это время вся колония, заседавшая в клубе, решала очень важный принципиальный вопрос: как нам следует отнестись к амнистии, принять ли ее или отвергнуть? Голоса сразу разделились. Одни утверждали, что принятие амнистии несовместимо с достоинством ссылки, которая до сих пор, по установившейся традиции, относилась крайне отрицательно ко всяким так называемым «милостям». Припоминались случаи, когда даже больные товарищи, имевшие моральное право уехать в Якутск для лечения, отказывались от этого исхода только потому, что для этого нужно было подавать прошение. Указывалось и на то, что до сих пор ни одна амнистия не коснулась Колымска и что поэтому следует от нее отказаться и теперь. К тому же мы не были уверены, что в данный момент она коснется всех ссыльных без различия, а становиться в исключительное, привилегированное положение по отношению к остальным товарищам для отдельных членов колонии было неприятно. Последний аргумент был несомненно самый сильный. Защищавшие приемлемость амнистии доказывали, что она является недобровольной, завоеванной самим народом, что есть все основания предполагать ее общий характер и что, наконец, если мы даже и откажемся от нее, то все ровно нам придется уехать, так как выдача пособия будет немедленно прекращена, а жить без пособия мы все равно не сможем. Последний аргумент оказался наиболее убедительным, и вопрос был вскоре исчерпан.

Итак, я свободен! То, к чему я стремился в течение 10 лет, что светило мне тихим блуждающим огоньком, подошло теперь ко мне вплотную и охватило ярким пожирающим пламенем лихорадочного нетерпения, к которому примешивалось горькое, щемящее чувство, неизбежное у человека, навсегда покидающего могилу, где похоронено дорогое существо. Я никак не мог и не могу до сих пор понять того чувства, которое несомненно вполне искренно проявляется у некоторых ссыльных и людей, отсидевших долгие годы в тюрьме,—чувства привязанности к месту заключения и ссылки, о которых они сохраняют самые теплые и приятные воспоминания. Не знаю: быть может, во мне слишком сильно все время говорила жажда жизни, или я попросту не способен привязываться к месту, но этого чувства

я не испытывал и выехал из Колымска, посылая этому гиблому краю самые искренние проклятия.

Последние три недели достались мне особенно тяжело. Все-как-то сразу утратило для меня всякий интерес; нити, связывавшие меня с местной жизнью, сразу оборвались, и я впервые почувствовал в своей душе на-ряду с ликующим настроением освобожденного какую-то странную, тревожную пустоту: старое было похоронено, а новое было еще впереди.

Обычная прощальная вечеринка, сборы в дорогу, последнее «прости» товарищам,—все это пролетело словно в тумане, и вот я снова в дороге, на этот раз ведущей к свободе...



Остановка у станции.

Я уже забыл все эти места и только изредка, словно сквозь сон, припоминаю, что когда-то я проезжал мимо этой заимки или перебирался через тот или другой хребет. Морозы стояли ужасные, крещенские. Наученный горьким опытом, я запасся достаточным количеством хорошего мехового платья. На мне теперь были две пары теплых, длинных чулок из заячьих шкурок и теплые меховые брюки; поверх всю ногу охватывали широкие, свободные торбаса. Затем я надевал шубу, а сверх ее двойную кукляпку с меховым капюшоном; теплая меховая шапка с наушниками, громадные медвежьи рукавицы и бесконечный, широчайший шерстяной шарф дополняли мое убранство. Когда я садился в нарту, казак окутывал мои ноги двумя меховыми

одеялами. Казалось бы, этого было достаточно, чтобы защитить меня от самого сурового холода; но—увы!—этой защиты хватало только на два-три часа, а затем начиналась пытка, заставлявшая меня корчиться от холода, скрежетать зубами и посылать проклятия, как-то невольно вырывавшиеся и бесследно пропадавшие в снежной пустыне. Ноги и руки деревенели, все тело дрожало мучительной дрожью, мысли беспомощно путались, а призрак свободы, манящий и дразнящий своею близостью, бледнел и таял перед вечной заботой, как бы поскорее согреться и притти в себя. Я торопил ямщиков и всячески уговаривал их погонять оленей; но уже не потому, что мне хотелось как можно скорее попасть на родину,—нет, меня просто тянуло к теплу, хотелось во что бы то ни стало освободиться от этих ужасных тисков полярного мороза.

Я выехал из Колымска 17 января, а в первых числах февраля я встретил купеческий обоз, направлявшийся из Якутска в Колымск. От ямщиков я узнал кое-какие новости. Один из них сообщил мне, что японцы, наконец, взяли Порт-Артур.

— Они хитрые, эти японцы,—сказал он,—они прилетели на воздушных шарах и бросали в русских бомбы. Конечно, русские сдались. Но только,—прибавил он, хитро улыбаясь,—и русские не дураки: они-то крепость отдали, чтоб обмануть японцев, а потом заберут ее обратно.

Я так и не мог разобрать, серьезно ли говорил этот якут или просто потешался над моим казаком.

В Верхоянске я застал молодую колонию, с которой, к сожалению, познакомиться как следует не мог; я пробыл здесь всего двое суток и даже не успел притти в себя и отдохнуть. Товарищи сообщили мне, что в Петербурге в январе произошло какое-то восстание, и показывали даже план баррикад, нарисованный на бумажке. Бедняги, очевидно, были введены в заблуждение: баррикад было слишком много, они концентрическими кругами охватывали чуть ли не весь город, и я сразу усомнился в истинности их информаций. Только в начале марта, недалеко от Якутска, я узнал от товарищей, проживавших в улусе, название которого я успел уже забыть, о событии 9 января, которое сразу ошеломило и придавило меня. Я долго ломал себе голову, стараясь понять личность и поведение Гапона, который

рисовался мне великим народным трибуном, сочетавшим в себе все прогрессивные, революционные стремления русского пролетариата с религиозным настроением масс. Мне и в голову, конечно, не приходило тогда, что все эти хоругви и иконы были искусственным придатком, простою хитростью в руках демагога, ставшего волею судеб во главе народного движения.

Чем ближе подходили мы к концу тяжелого пути, тем сильнее взвинчивались мои нервы. Особенно памятен мне тот день, когда я подъезжал к Якутску, каждую минуту ожидая, что где-нибудь за поворотом реки я увижу, наконец, пароход, стоящий в затоне. В данный момент меня почему-то интересовал больше всего пароход, все же другие вопросы для меня казались неважными и отодвигались на задний план. И когда, наконец, я увидел этот маленький, жалкий пароходик, сиротливо приткнувшийся к берегу, мною овладел вдруг неистовый восторг. Я высунулся из кибитки, захлопал в ладоши и как ребенок закричал: «Ура-а! пароход, ей богу пароход!» Этим инстинктивно вырвавшимся криком я приветствовал всю культуру, настоящую жизнь, к которой мне, наконец, удалось возвратиться. Флегматичный якут-ямщик обернулся ко мне и посмотрел на меня довольно изумленно, а я, сконфузившись, забрался обратно в кибитку, подобно школьнику, пристыженному строгим учителем. Вскоре после парохода появились и другие признаки культуры: высокая кирпичная труба «монопольки», гордой колонной высившаяся над городом, телеграфные столбы, и наконец... городовой, стоявший меланхолически на своем посту и показавшийся мне почему-то олицетворением спокойствия и кротости.

С первого же дня началось приведение моей персоны в приличный европейский вид. Я поспешил к цирюльнику, интересуясь не столько приведением в порядок своей физиономии, сколько видом этого культурного учреждения с его зеркалами, баночками, щеточками и другими весьма важными предметами, от которых я уже успел отвыкнуть. Затем последовала настоящая баня, а за нею театр, правда, плохонький, любительский, но все-таки театр с занавесом, декорациями и оркестром, состоявшим из четырех человек. Играли из рук вон скверно, но мне было так весело, кругом меня было так много людей, и я с такою

жадностью рассматривал и изучал новые лица, проходившие вереницей передо мною. Все представлялось мне в увеличенных размерах, иногда подавляло меня; и лишь впоследствии, уже в России, я избавился от этого странного чувства, приспособился и привык к новой обстановке.

Между прочим, приезд в Якутск поставил меня лицом к лицу с очень важным вопросом о партийных разногласиях. Здесь царила сильная рознь между социал-демократами и социалистами-революционерами, доходившая до того, что обе группы имели отдельные «улусные» квартиры для приезжающих товарищей, устраивали отдельные собрания и почти не встречались друг с другом. Все это было для них вполне естественно и понятно, так как обе партии уже достаточно резко отмежевались друг от друга в России, и члены их не могли изменить взаимных отношений в ссылке. Но эта рознь, выработанная жизнью, была психологически непонятна для меня, стоявшего так долго вдалеке от жизни; я полагал, что в ссылке, где люди перестают вести партийную работу, всякие партийные разногласия можно легко отодвинуть на задний план. Главною же задачей я считал образование общей и дружной семьи, которая должна своей сплоченностью и солидарностью поддерживать более слабых членов, сохраняя их силы ко времени возвращения из ссылки. Поэтому я решительно отказался от мысли стать в антагонистические отношения к социалистам-революционерам. Впрочем, мои товарищи и не настаивали на этом, так так они хорошо понимали, что мне необходимо было сначала присмотреться к жизни и деятельности отдельных партий, прежде чем окончательно высказаться по такому важному вопросу.

Я пробыл в Якутске не больше недели и за это время успел перезнакомиться лишь с немногими из ссыльных. Как раз в то время, под влиянием полного поражения на Востоке и растущего общественного недовольства, администрация сочла нужным ослабить систему жестокого, бессмысленного режима, и товарищи, до тех пор населявшие улусы, откуда они не смели отлучаться в город без разрешения администрации под страхом высылки в Верхоянск и Колымск, воспользовались наступлением «административной весны» и всею массой нахлынули в Якутск. Таким образом, к моему приезду в Якутске сосредоточилось

около 120, если не больше, ссыльных,—молодых, энергичных и веселых. У меня сразу закружилась голова, и в первые дни я не мог притти в себя от такого многолюдства. К тому же впервые после десяти лет я снова приобщился к культуре, бывшей до тех пор для меня запретным плодом. Все это страшно волновало меня, взвинчивало нервы, я был окончательно вышиблен из колеи.

Прошло несколько дней, веселых, угарных, захватывавших все существо и даже светлыми сторонами своими больно бивших по усталым нервам. Надо было снова собираться в дорогу.



На Алазейском хребте.

Нам предстоял еще нелегкий путь на почтовых до Иркутска, который в общем должен был продолжаться не менее трех недель. Нам, а не мне, потому что из Якутска нас выехало трое с двумя детишками, из которых один был сыном застрелившегося в Колымске Калашникова: я вез его в Россию для воспитания. Ехали мы на перекладных, и немудрено, что дорога с первых же дней показалась нам убийственно тяжелой. В течение трех недель мы спали в кибитках не раздеваясь и не более двух-трех часов сряду. Не успеешь и сомкнуть усталых глаз, как повозки уже останавливаются около станции. Приходится вставать, перекладывать все вещи в другие кибитки, всячески стараясь не разбудить детей, сильно уставших и измученных. Только один раз мы заночевали на какой-то станции, да и то

потому, что товарищ захворал, и мы не решались везти его дальше.

Чем ближе к Иркутску, тем тревожнее становилось наше настроение, тем больше мы торопились, стараясь выгадать время. В воздухе сильно потеплело, чувствовалось приближение весны, дорога портилась, и у нас были все основания опасаться, как бы не застрять где-нибудь вблизи от Якутска на долгое время, покуда не вскроется река. В конце концов, мы все-таки добрались до Иркутска во-время и только последний перегон были вынуждены сделать на колесах.

В Иркутске меня снова подхватила и закружила бурная волна общественной жизни, и на этот раз гораздо сильнее, чем в Якутске, который теперь уже казался мне более похожим на Колымск, чем на культурный, оживленный город. В описываемое время в столице Сибири происходила всеобщая забастовка приказчиков. Это было одно из реальных проявлений того великого подъема, который тогда сразу охватил всю Россию, судорожно рвавшуюся из цепких лап кровожадной реакции. Повсюду в городе царило сильное возбуждение, происходили собрания, разбрасывались прокламации. Наяву я видел все, о чем мы когда-то мечтали, принося в жертву свободе свои лучшие годы. Я никогда не забуду одного мелкого, но глубоко знаменательного факта, который особенно резко запечатлелся в моей памяти. В числе новых знакомых, появившихся у меня в Иркутске, была очень славная девочка лет 13—14. Как-то раз, возвращаясь из школы, она нашла на улице втоптанную в грязь прокламацию, призывавшую общество поддержать забастовщиков против угнетателей-хозяев. Юная революционерка принесла эту прокламацию домой, очистила ее от грязи и затем принялась обсуждать содержание бумажки вместе с горничной на кухне. Этот мелкий факт показал мне, что революционное движение в России успело захватить даже и детей: эти маленькие люди всегда любят превращать в игру то, что серьезно делают взрослые.

Не только забастовка волновала в то время общественное мнение Иркутска. Как раз к моменту моего приезда здесь заканчивалась полоса банкетов, где произносились неслыханно резкие речи, провозглашались тосты за героев революции: Сазонова и др.,—словом, проделывались такие вещи, за которые

в наше время можно было легко попасть не только в Колымск, но и в более неудобные места. А теперь все сходило безнаказанно, и даже офицеры, присутствовавшие на банкетах, рукоплескали этим речам и поддерживали тосты. Было таки отчего закружиться моей голове, когда я попал, наконец, в гущу волнующейся революционной жизни.

Мы выждали окончание забастовки, приобрели необходимые вещи и стали собираться в дорогу. Наконец-то мне удалось сбросить с себя азиатское меховое платье и заменить его европейским. Но—увы!—это была еще далеко не последняя стадия моей метаморфозы. Впоследствии оказалось, что костюм, который я считал в Иркутске очень изящным и модным, никуда не годился, и через две недели, уже в России, мне пришлось заменить его другим. Так постепенно менял я свой внешний облик, покуда, наконец, не превратился в европейца.

Уложив свои вещи в новенькие блестящие чемоданы, мы отправились на вокзал, где нас ждало горькое разочарование: касса оказалась закрытой, и билетов не выдавали. Как раз в это время из Харбина началось повальное бегство в Россию. Поезда, переполненные беглецами, преимущественно женщинами и детьми, один за другим проходили через Иркутск. Конечно, при известном желании и распорядительности железнодорожное начальство могло бы всегда устроиться так, чтобы и для отъезжающих из Иркутска нашлось несколько свободных вагонов. Но этого не было, и мы буквально не знали, что делать. На следующий день мы снова приехали на вокзал и опять ничего не добились. К счастью, на вокзале оказался один из товарищей, знакомый с местными порядками. Когда мы рассказали ему о наших злоключениях, он удивленно пожал плечами и сказал: «Так и видно, что вы с неба свалились! Дайте артельщику три рубля, и вы увидите, что у вас будут и билеты, и места». Мы последовали его совету, и через несколько минут двери вагона гостеприимно раскрылись перед нами. Оказалось, что железнодорожное начальство, воспользовавшись сумятицей, царившей на железной дороге, организовало систематические поборы с пассажиров и совершенно произвольно прекратило выдачу билетов. Пришлось примириться с этим «маленьким недостатком механизма» и подчиниться воле тайной железнодорожной организации.

Но не успели мы втащить в вагон свои вещи и выбрать подходящее место, как вдруг на нас налетела орава каких-то странных, подозрительных субъектов с кучей всевозможных узлов, чемоданов и коробок. В одно мгновенье мы были оттеснены с своих позиций, смяты и отброшены в угол. Мы вступили с нападавшими в резкие объяснения, но добиться ничего не могли. Один из этих господ с важностью провозгласил: «Теперь, господа, война! Все приходится брать с бою. Да впрочем, вы сейчас увидите, что иначе мы и не можем поступать». И, действительно, через несколько минут в вагон ввалилась целая куча жалких, заморенных, грязных детей, мал-мала меньше, а шествие замыкалось худенькой, больной, беременной женщиной. Оказалось, что эта несчастная семья бежала из Харбина и что напавшая на нас банда заняла места в вагоне для этих несчастных беглецов. Конечно, препирательства сейчас же окончились; мы приняли самое деятельное участие в устройстве новых пассажиров, а бандиты сразу переменили гнев на милость и стали рассыпаться в бесконечных извинениях и любезностях.

Кое-как устроились, и вскоре поезд медленно тронулся... В вагоне было душно; воздух был спертый; постоянный плач и визг детей, громкий говор пассажиров и невозможная теснота способны были отравить путешествие даже невзыскательному пассажиру, и все-таки мне казалось, что я еду с полным комфортом. Растянувшись на скамье вверху, совсем под потолком, задыхаясь от жары и чихая от пыли, я с блаженством предавался сладкому отдыху в приятном сознании, что больше мне не придется мерзнуть в кибитках, подвергаясь всевозможным случайностям первобытных способов передвижения. На мне была новая черная пара, ноги чувствовали себя так ловко и удобно в новых ботинках, накрывался я новым шерстяным одеялом, ел белый хлеб,—чего же больше?

Когда мы уже порядком отъехали от Иркутска, отношения в вагоне совершенно наладились. Беглецы из Харбина развернули передо мной в простых, бесхитростных рассказах ряд ужасных картин, свидетелями которых они были сами. Особенно тяжело мне было выслушивать рассказы двух раненых солдат, возвращавшихся с войны. Один из них был ранен в ногу и руку, а другому пуля попала в живот. Серые, измученные

лица их дышали усталостью, а в глазах светила безысходная грусть.

— Теперь кончено,—говорил один из них,—теперь я пропащий человек. Служил я прежде в экономии, получал 30 рублей на хозяйских харчах... мать содержал, двух сестер кормил, а теперь какой из меня работник?.. Что мне этот крестик!—и он указал пальцем на новенького георгия, болтавшегося в петлице.— У меня теперь другой георгий: пуля в животе,—проговорил он горьким, озлобленным голосом.—Теперь мне все равно не жизнь..., а расскажу я всем, все расскажу, что видел. Пускай все знают!



Якутская юрта.

И этот жалкий комок пушечного мяса, иногда волнующимся, а иногда спокойным, бесстрастным тоном рассказывал мне одну историю за другой, и страшно было слушать эти рассказы, полные слез и отчаяния. А потом эти бесконечные вопросы, на которые необходимо было ответить, так как по голосу задававшего их чувствовалось, что для него разрешение этих вопросов является теперь главным содержанием жизни.

— Ну, скажите мне, почему японцы—ведь нам говорили: они азиаты, дикари—почему они все грамотные? Почему они так хорошо одеты и обуты? Ведь у него и обувь хорошая, и платье справлено как следует, а ведь он дикарь! А у нас, вот посмотрите на этот сапог,—и солдат вытащил из мешка пару неуклюжих, тяжелых изорванных сапог.—Ведь я в них почти

всю кампанию сделал, кровавые мозоли натер, а новых нам не давали, даром что, когда от Мукдена отступали, тысячами их сожгли... Почему, сказывают, у них офицер солдату брат, а у нас все в морду да по шее?

И десятки, сотни таких вопросов задавал он мне и требовал ответа... И тогда уже я чувствовал, что эта ужасная, позорная война не прошла для пушечного мяса даром; и то, что не могли сделать агитаторы и пропагандисты, с успехом было выполнено интендантами, военными властями и теми, кто издалека, с берегов Невы, руководил этой злополучной войной.

Около каждого железнодорожного моста поезд останавливался, и в вагоны входили солдаты с ружьями. Они становились у дверей и зорко следили за тем, чтобы никто не смотрел в окна, которые, впрочем, были еще завинчены, так как официально поезда находились еще на зимнем положении. Это была охрана, наблюдавшая затем, чтобы кто-нибудь из окна не взорвал моста. Я никак не мог понять, каким образом это можно сделать, находясь внутри вагона; но, очевидно, что эта охрана считалась необходимой, и должно быть поэтому солдаты так грубо обращались с пассажирами. При этом я невольно вспоминал, как 10 лет тому назад мы проходили по этим местам и как мы страдали от наглости и грубости конвойных команд. Бывали такие моменты, когда мне казалось, что я вовсе не возвращаюсь на волю, а снова иду в ссылку и что все пассижиры—мои сотоварищи по партии.

Как-то раз, когда поезд благополучно прошел по одному из таких охраняемых мостов, часовой нечаянно задел штыком за пломбу, скреплявшую рукоятку тормоза Вестингауза. Поезд моментально остановился. Дело было ночью, пассажиры здорово перепугались, и в поезде началась паника. Явился обер-кондуктор и приступил к опросу пассажиров. Вскоре явились улики против солдата, но мы решили взять его под свою защиту и убедили обер-кондуктора, что эти улики не имеют под собой никакой почвы. В конце концов решено было дело замять, и поезд пошел дальше. Наш часовой, до тех пор державшийся крайне грубо и вызывающе, сразу изменился: «Наша жизнь каторжная,—проговорил он, обращаясь к пассажирам, столпившимся на площадке.—Приказано сторожить, я и сторожу

А что кому нагрубил, так простите... Я это, ей богу, больше со страху». На ближайшей остановке, солдат попрощался со всеми нами за руку и, улыбаясь сконфуженной улыбкой, сказал: «Спасибо, братцы, что выручили, уж я этого никогда не забуду».

Чем ближе подъезжали мы к России, тем сильнее чувствовалась атмосфера войны, окружавшая полотно дороги. Навстречу нам неслись почти исключительно воинские поезда, а товарные встречались очень редко. Санитарные поезда были красивые, чистенькие, похожие на игрушки; зато ничего нельзя было представить себе безобразнее воинских поездов, переполненных солдатами и лошадьми. Казалось, будто эти красные возбужденные лица, безучастно выглядывавшие из-за широкiх дверей вагонов, принадлежат не людям, а животным, которых везут на убой.



Домой!

На станциях вечная суматоха, нервная толкотня и растерянность. На платформе группами расположились солдаты, раненые сидят рядами, прислонившись к стене, и смотрят на всех тоскливыми, страдальческими глазами. Я не мог никак привыкнуть к этому печальному зрелищу, преследовавшему меня на всем протяжении дороги. Настроение солдат в общем было очень возбужденное. Офицеры с трудом справлялись с ними и не решались применять обычные дисциплинарные меры.

На одной из станций я был свидетелем характерной для того времени сценки. На платформе стояла довольно большая кучка солдат, в середине которой возвращавшийся на родину рядовой, георгиевский кавалер, горячо объяснял слушателям, почему

японцы нас бьют. Проходивший мимо полковник обратил внимание на этого преступного агитатора и решил положить конец его революционной деятельности.

Подойдя к солдату, он спросил его: «Ты почему не отдаешь чести?»

— Так что не заметил я, ваше высокоблагородие.

— Не заметил!?—повторил вздрагивающим от гнева и раздражения голосом полковник.—А почему ты, мерзавец, одет не по форме?!..

Действительно, на голове бравого кавалера красовалась какая-то невозможная шапка-папаха, совершенно несвойственная солдатскому одеянию. Солдат не растерялся. Подойдя почти вплотную к полковнику, он спокойным и в то же время решительным тоном проговорил: «Я—георгиевский кавалер и ругать себя не позволю». В окружавшей его толпе раздался одобрительный гул. Увидев, что дело плохо, офицер повернулся, вскочил в вагон и запер дверь изнутри. Но солдат решил довести разговор до конца. «Я ему покажу мерзавца»,—проговорил он и решительными шагами направился к вагону. Дело кончилось бы крупным столкновением, если бы вездесущие жандармы не схватили сзади кавалера. Однако, последний не сдавался. Ему каким-то образом удалось попасть в телеграфное отделение, откуда он послал телеграмму в главный штаб с жалобой на полковника. Я не сомневаюсь в том, что эта телеграмма была принята только для виду, чтобы не раздражать солдат, но важно было, конечно, не это; важно было то настроение, которое хоть на мгновение поставило солдата на равную ногу с его начальником.

После бесчисленных задержек и остановок мы, наконец, перебрались через Урал, и я снова почувствовал себя на родине. Снова поезд мчался мимо жалких, разоренных деревушек, снова вереницей проходили мимо нас нищенские города с отвратительными мостовыми, с жалкою растительностью, похожие на нищих, просящих милостыню на большой дороге. Но зато повсюду чувствовалось сильное оживление, и я с радостью подмечал бесчисленные признаки духовного перерождения нации. В вагонах, на вокзалах, на улицах, повсюду говорили об одном и том же, всюду обсуждался общий наболевший вопрос. За 10 лет

моего пребывания в Средне-Колымске Россия сильно выросла, и я совершенно не узнавал людей. Какое-то радостное, бодрящее чувство охватило меня, и все люди казались мне такими близкими и родными. Проехали Пензу, где пришлось прождать часов 10. Затем еще два дня, и я очутился, наконец , у заветной цели. Мы тихо подъехали к Харькову, где живут мои родные, с нетерпением ожидавшие моего возвращения с того света. Не раз мне в душу закрадывалось сомнение, удастся ли когда-нибудь нам встретиться снова. И то, что еще так недавно казалось мне волшебным сном, несбыточной мечтой, теперь превратилось в действительность. В своем коротеньком колымском полушубке, весь черный от пыли и загара, исхудалый и совершенно измученный почти беспрерывным трехмесячным путешествием, я медленно поднялся по лестнице дома, в котором жила моя сестра. В просторной столовой, которая с непривычки показалась мне грандиозною, меня встретила гувернантка с двумя детьми, которые родились и выросли в мое отсутствие. Они изумленно и почти испуганно стали разглядывать этого странного, грязного пришельца, своим видом напоминавшего бродягу. «Кого вам нужно?»—суровым тоном спросила гувернантка...

Я назвал себя. Во всем доме поднялась страшная суматоха, а через минуту, я сидел за столом, окруженный всей семьей, и отдыхал, словно после мучительной, долгой болезни. Затем наступил период отмывания, переодевания, словом, наведения культуры и цивилизации.

Первое время мне все казалось, что я должен куда-то ехать. Просыпаясь утром, я поспешно соскакивал с постели, ожидая, что кто-нибудь мне скажет: «Ну, вставайте скорее, лошади поданы!» Я никогда не чувствовал себя таким бодрым и веселым. Лихорадочное нервное возбуждение я принимал за возрождение организма. Но затем наступила неизбежная реакция, и мне пришлось долго отдыхать и отлеживаться, прежде чем я, наконец, пришел в состояние устойчивого равновесия. Особенно туго привыкал я к присутствию людей. Мне было тяжело находиться долго в большом обществе, я терялся среди толпы и не знал, что с собой делать. Первое время, особенно начиная с Иркутска, мне было даже неприятно выходить из вагона, и только после некоторых усилий я успел, наконец, справиться с этой человекобоязнью.

Ссылка кончена, 10 лет жизни похоронены... То, что пришлось мне перенести в заполярной тюрьме, наложило известный отпечаток на все мое существо, отпечаток неизгладимый, который может быть оценен и взвешен только теми, кто побывал в одинаковых условиях со мной. И до сих пор я не могу вспомнить без чувства глухой злобы о том крае, который отнял у меня 10 лет лучшей жизни, и о тех людях, которые послали меня в эту мертвую ледяную тюрьму.

Но теперь не время предаваться жалобам и вздохам. Слишком много искупительных жертв отдано ненасытному Молоху, слишком много крови пролито и слишком много разбито молодых жизней, чтобы стоило говорить о своей утрате. И если мне захотелось дать читателю описание средне-колымской ссылки, то я сделал это только потому, что в общей картине ужасного гнета, нависшего над моей родиной, этого штриха недоставало; штриха, быть может, незначительного, но дополняющего общий тон, подчеркивающего жестокость и самодурство реакционной клики, в грубых руках которой судорожно бьется измученная Россия.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Перечень колымских ссыльных.

1) Акимова, Таисия Михайловна, православная; арестована в Москве в мае 1895 г.; после десяти месяцев предварительного заключения была приговорена по обвинению в подготовлении покушения на Николая II к трем годам крепости и десяти годам ссылки в Якутскую область; вернулась в Россию в 1905 г.

2) Бас, Мендель, бундист; арестован в марте 1904 г., сослан на три года; в 1905 г. был арестован вместе с Бойковым и другими в Средне-Колымске и отправлен в Якутск; амнистирован в том же году.

3) Бойков, Михаил Петрович, православный; арестован в Уфе, обвинялся по делу уфимского с.-д. комитета, сослан (1904 г.) в Средне-Колымск на 10 лет. В 1905 г., вместе с другими ссыльными, явился с оружием в руках в средне-колымское полицейское управление для того, чтобы заставить исправника отказаться от предварительного контроля писем. Арестованный, вместе с соучастниками, был переведен в якутскую тюрьму; амнистирован в 1905 г.

4) Борейша, Антон Болеславович, лютеранин; арестован в 1895 г. в Одессе, после 1 года и 10 месяцев предварительного заключения сослан на 6 лет в Восточную Сибирь. В 1905 г. арестован в Ташкенте, где редактировал газету «Туркестан»; пробыл в тюрьме 1 мес., а затем был выслан из пределов Туркестанского края.

5) Будилович, Игорь Александрович, православный; арестован в Москве в декабре 1903 г. по делу о студенческих беспорядках; был сослан на 5 лет в Якутск, откуда был переве-

ден в Средне-Колымск за отказ от помилования, примененного ко всем сосланным студентам, и за пропаганду среди местной молодежи. В 1904 г. вернулся в Якутск для отбывания воинской повинности, а оттуда уехал в Москву, где был арестован в 1906 г. и сослан в Туруханск.

6) Букерман, Самуил, еврей; в начале 1904 г. был арестован в Одессе по делу одесского комитета р. с.-д. р. п.; амнистирован в конце 1905 г.

7) Верхотуров, Пантелеймон, православный; арестован в Иркутске, прибыл в Колымск в ноябре 1903 г., сослан на шесть лет за печатание прокламаций. Весною 1905 г. был арестован в средне-колымском полиц. управлении и увезен в якутскую тюрьму; амнистирован в 1905 г.

8) Вольфсон, Шмера, еврей; был сослан на 4 года за участие в с.-д. работе, в декабре 1903 г. прибыл в Колымск, амнистирован в 1905 г.

9) Гуковский, Григорий Эммануилович, еврей; был выдан в 1890 г. германским правительством и заключен в Петербургскую одиночную тюрьму («Кресты»). Здесь он пробыл 5 лет и за мотивированный отказ от присяги сослан на 5 лет в Средне - Колымск. Застрелился в 1899 г. (см. стр. 156 и след.).

10) Данилов, Виктор Александрович, православный; был арестован: 1) в Кутаисе в 1874 г. (апрель), 20 дней тюремного заключения; 2) в Ахалкалаках (Тифлисской губерн.) в 1874 г., 3 г. 5 мес. тюрьмы; судился по «Большому Процессу» (Процесс 193-х); 3) в Харькове в 1879 г., около 10 мес. тюрьмы; 4) в Харькове в 1881 г., около 10 мес. тюрьмы; приговор—каторжные работы (4 года), затем поселение; 5) в Якутске в 1887 г., приговорен за побег к наказанию 50 плетьми (отменено) и 8 м. заключению в александровской каторжной тюрьме; 6) в Москве в 1887 г., выслан административно в Средне-Колымск после 8-мес. предварит. заключения; 7) в 1888 г. в Иркутске за тюремный бунт приговорен к 60 плетям (отменены) и к 8-мес. заключению в александр. каторжной тюрьме; приехал в Средне-Колымск в 1891 г., уехал в 1904 г.; 8) в 1905 г. был арестован в Харькове, просидел несколько месяцев в тюрьме и затем выслан из Харьковской губ.

11) Дзбановский, Евгений Александрович, православный; находился в административной ссылке в Олекминске; затем жил в Иркутске, где был арестован и выслан в Средне-Колымск на 2 года (1898—1900).

12) Дзержановский, Владислав, поляк; сослан за участие в студенческой демонстрации в Петербурге на 4 года, прибыл в ноябре 1903 г.; был арестован в средне-колымском полицейском управлении в начале 1905 г. и отправлен в якутскую тюрьму; амнистирован в 1905 г.

13) Егоров, Михаил Иванович, православный; был арестован в мае 1895 г. в Москве; после 10 месяцев предварительного заключения был приговорен к трем годам крепости и 8 годам ссылки в Якутскую область по обвинению в подготовлении покушения на Николая II; амнистирован в 1904 г.

14) Ергина, Любовь Владимировна, православная; арестована в декабре 1896 г. по делу «Группы народовольцев» («Лахтинская типотрафия»); после 1 года предварительного заключения (зачтено) сослана на 6 лет в Восточную Сибирь.

15) Ергин, Александр Александрович, православный; арестован в декабре 1895 г. по делу то же группы («Лахтинская типография»); после 2 лет предварительного заключения сослан на 8 лет в Восточную Сибирь. В 1900 г. был арестован в Средне-Колымске (см. стр. 152) и увезен в Якутск на суд; был приговорен к лишению особых прав и 4 годам арестантских рот; освобожден в 1904 г.

16) Ионес, Шлёма, еврей; арестован в Вильне, приехал в Средне-Колымск в 1900 г., уехал в январе 1902 г. (по болезни).

17) Калашников, Иван Михайлович, православный; арестован в Одессе в 1894 г., после 1 года и 5 мес. предварительного заключения сослан в Средне-Колымск на 10 лет. Застрелился в 1900 г. (см. стр. 148 и след.).

18) Камай, Самуил, еврей; принимал участие в организации «Рабочая Библиотека» и в печатании изданий Польской Социалистической Партии; отравился в Средне-Колымске весною 1904 г.

19) Карагулянц, Вартан, армянин; сослан по обвинению в участии в военной организации на пять лет, прибыл в Колымск в декабре 1903 г.; амнистирован в 1905 г.

20) Коревин, православный; сослан на три года; прибыл в Колымск в начале 1905 г., через несколько месяцев был амнистирован.

21) Левинсон, Аарон, еврей; сослан на 4 года, приехал в начале 1904 г.; амнистирован в конце 1904 г.

22) Мелейковский, Моисей, еврей; был арестован в Вильне в 1896 г., обвинялся по делу об ослеплении мастера Хволоса; после года и 6 месяцев предварительного заключения пробыл один год в выборгской тюрьме («Кресты») и 5 лет в Колымске.

23) Мельников, Владимир Иванович, православный; в ссылке был дважды: в первый раз в Верхоянске (около 7 лет), во второй раз был сослан в Колымск на 10 лет.

24) Мицкевич, Сергей Иванович, православный; арестован в Москве в 1894 г.; обвинялся по делу о с.-д. пропаганде среди московских рабочих; после 2 лет и $2^1/_2$ месяцев предварительного заключения был сослан в Олекминск на пять лет, откуда добровольно переехал в 1899 г. в Средне-Колымск, где занял место участкового врача. Вернулся в Россию в начале 1902 г.

25) Орлов, Александр Евгеньевич, православный; был арестован в Турции и выдан России; после года заключения в выборгской тюрьме («Кресты») был сослан в Средне-Колымск на 10 лет.

26) Палинский, Станислав Александрович, поляк; арестован в декабре 1893 г., после 3 лет и 5 мес. предварительного заключения был сослан на 10 лет в Восточную Сибирь. Уехал из Средне-Колымска в Якутск в качестве свидетеля по делу А. Ергина в 1902 г.; из Якутска бежал.

27) Попова, Екатерина Евгеньевна, православная; была арестована по делу типографии «Революционной России», сослана на шесть лет, приехала в Колымск в марте 1904 г.; амнистирована в 1905 г.

28) Попов, Евгений Петрович, православный; муж предыдущей, был арестован по делу типографии «Революционной России», был сослан на шесть лет; амнистирован в 1905 г. Занимал место колымского участкового врача.

29) Пружанский, Инсус, еврей; за участие в Одесской забастовке и демонстрации 1902 г. был сослан на 4 года, приехал в ноябре 1903 г.; амнистирован в 1905 г.

30) Распутин, Иван Спиридонович, православный; арестован в 1895 г. в Москве; после 10 мес. предварительного заключения присужден к 5 годам заключения в крепости и 10 годам ссылки в Якутскую область (стоял вне колонии); обвинялся в подготовлении покушения на Николая II; уехал из Средне-Колымска в 1902 г.

31) Рудерман, Григорий, еврей; был сослан по обвинению в агитации и пропаганде среди киевских рабочих на $1^1/_2$ года в Верхоленск, откуда за организацию побегов был выслан по приказу иркутского генерал-губернатора Кутайсова в Средне-Колымск; амнистирован в конце 1904 г.; эмигрировал в Америку.

32) Сидорович, Сигизмунд, поляк; сослан на три года за участие в красноярской забастовке; приехал в марте 1904 г.; вместе с Бойковым и другими был арестован в средне-колымском полицейском управлении и отправлен в якутскую тюрьму; амнистирован в 1905 г.

33) Строжецкий, Ян Феликсович, поляк; был арестован в Варшаве в августе 1894 г.; после 2 лет и 3 месяцев заключения в варшавской цитадели был сослан на 8 лет в Средне-Колымск по обвинению в принадлежности к Польской Социалистической Партии и в распространении социалистических идей и изданий среди рабочих варшавских фабрик. В студенческие годы за участие в политической демонстрации был отдан под надзор полиции на один год.

34) Суровцев, Дмитрий Яковлевич, православный; в последний раз был арестован в 1882 г. в Одессе; за устройство типографии «Народной Воли» был приговорен к 20-летним каторжным работам; наказание отбывал в шлиссельбургской крепости, где пробыл 14 лет; затем он был сослан в Средне-Колымск на поселение.

35) Циммерман, Христофор-Фридрих, поляк; был арестован в 1893 г. в Лодзи; после 2 лет и 8 месяцев предварительного заключения был сослан на поселение в Якутскую область за участие в террористическом покушении на дом фабриканта Куницера.

36) Цыперович, Григорий Владимирович, еврей; был арестован в Одессе в январе 1894 г.; после года и пяти месяцев предварительного заключения был сослан на 10 лет в Якутскую область за пропаганду и организацию рабочих кружков среди одесских матросов и рабочих; приехал в Колымск в 1896 г. уехал в 1905 г.

37) Шулятикова, православная; приехала в 1898 г. уехала в 1902 г.

38) Эдельман, Борис, еврей; арестован в 1898 г., в Екатеринославе, сослан на 8 лет; приехал в Средне-Колымск зимою 1901 г. и вскоре уехал в Якутск (по болезни).

39) Янович, Людвиг Фомич, поляк; принадлежал к партии «Пролетариат» (1882—1886), был арестован в Варшаве в 1884 г., при чем во время ареста стрелял в полицейского агента из револьвера; был приговорен к 16 годам каторжных работ и посажен в шлиссельбургскую крепость, откуда был сослан в 1896 г. на поселение в Средне-Колымск. В 1903 г. был вызван в качестве свидетеля по делу А. Ергина в Якутск, где и застрелился.

Из старых ссыльных до 1896—7 г. в Средне-Колымске оставались: Богораз, Коберман, Коган, Магат, Поляков, Сабунаев, Цыценко, Энгель.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

